



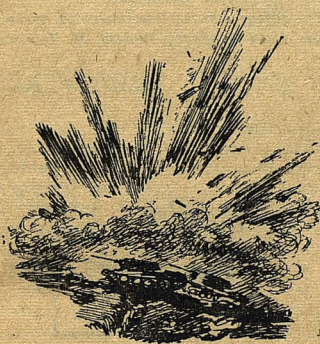
Дни боевые

ДЕТГИЗ 1945



Дни Боевые

РАССКАЗЫ И СТИХИ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НАРКОМПРОСА РСФСР

Москва 1945 Ленинград

РИСУНКИ
Е. АРЦЕУЛОВА, М. ТАРАНОВА, В. ЩЕГЛОВА
ОБЛОЖКА В. ЩЕГЛОВА

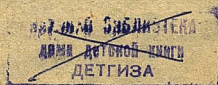
К ЧИТАТЕЛЯМ

«Дни боевые» — книга избранных рассказов, поэм и баллад советских писателей о героических эпизодах Великой Отечественной войны.

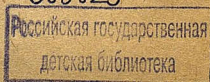
Произведения, вошедшие в эту книгу, рисуют картины недавнего прошлого, рассказывают о событиях тех первых военных лет, когда в суровых боях советский народ очищал родную землю от немецких захватчиков.

Издательство просит читателей-школьников присылать свои отзывы об этой книге по адресу: Москва, М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.

5623



693925





Михаил Шолохов

СОЛДАТСКАЯ ДРУЖБА

Шесть ожесточенных атак отбили бойцы соединения, прикрывавшего подступы к переправе; немецкая пехота и танки откатились за высоты, и к полудню над полем боя установилось недолгое затишье.

Вечером оборонявшееся соединение получило приказ командования: переправиться на левую сторону Дона. Дождавшись темноты, части бесшумно снялись, миновав развалины сгоревшего хутора, бездорожно, лесом начали отходить к Дону.

Остатки роты вел старшина Поприщенко. Тяжело раненного лейтенанта Голощекова несли на плащ-палатке бойцы, сменяясь по очереди. Позади всех шел бронебойщик Лопахин, и чуть в стороне от него — согнувшийся в дугу Копытовский, несший тяжелый мешок с патронами и ружье.

Они молча шли в кромешной тьме, спотыкаясь об оголенные корни дубков, цепляясь за разлатые ветви кустарника, только по звуку шагов определяя направление, взятое идущими впереди. В ложине около перекрестка дорог их накрыла огнем минометная батарея противника. Несколько минут они лежали, прижимаясь к похолодавшей песчаной земле, а потом по команде старшины поднялись, бегом пересекли дорогу. Огонь был слепой, и потерь они не понесли. И еще раз, когда подходили к полуразрушенной дамбе, по которой немцы пристрелялись еще засветло, попали под обстрел и на этот раз пролежали в кустарнике почти полчаса.

Непроглядная темнота озарялась вспышками разрывов, насквозь прошивалась светящимися нитями трассирующих пуль. Иногда далеко на высотах, где были немцы, загорался белый, ослепительный свет ракет, отблеск его ложился на верхушки деревьев, причудливо скользил по ветвям и медленно, как бы нехотя, угасал. Ночью в лесу особенно гулко, раскатисто звучали разрывы снарядов, и каждый раз Копытовский удивленно восклицал:

— Ну и зву-у-ук тут, как в железной бочке!

По щиколотки увязая в песке, они спустились с песчаного холма, увидели в просветах между кустами тускло блеснувшую свинцово-серую полосу Дона, причаленные к берегу темные плоты и большую группу людей на песчаной косе.

— Ты, Лопахин? — окликнул их из темноты старшина Поприщенко.

— Я, — нехотя отозвался Лопахин.

Старшина отделился от стоявшей возле плота группы, пошел навстречу, с хрустом дробя сапогами мелкие речные ракушки. Он подошел к Лопахину в упор, сказал дрогнувшим голосом:

— Не донесли... умер лейтенант.

Лопахин положил на землю ружье, медленным движением снял каску. Они стояли молча. Прямо в лицо им дул теплый, дышащий пресной влагой ветер.

Ночью шел дождь, порывами бил сырой, пронизывающий ветер, и глухо, протяжно стонали высокие тополи левобережной лесистой стороны Дона. Насквозь промокший и продрогший, Лопахин жался к безмятежно храпевшему Копытовскому, натягивал на голову тяжелую, пропитанную водой полу шинели, сквозь сон прислушивался к раскатам грома, звучавшего в сравнении с артиллерийской стрельбой по-домашнему мирно и необычайно добродушно.

С рассветом дождь прекратился. Пал густой туман. Лопахин забылся тревожным и тяжелым сном, но вскоре его разбудили. Старшина поднял всех на ноги, охрипшим от кашля голосом сказал:

— Лейтенанта надо похоронить, как полагается, и итти. Нечего нам тут бестолку киселя месить.

На поляне возле дикой яблони с поникшими листьями, осыпанными слезинками дождя, Лопахин и еще один красноармеец, по фамилии Майборода, вырыли могилу. Когда сняли первые пласты земли, Майборода сказал:

— Смотри, какой дождь полоскал всю ночь, а земля и на четверть не промокла.

— Да, — сказал Лопахин.

И больше до конца работы они не обмолвились ни одним словом. Последнюю лопатку земли со дна готовой могилы выбросил Майборода. Он вытер ладонью покрытый испариной лоб, вздохнул.

— Ну, вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик...

— Да, — снова сказал Лопахин.

— Теперь закурим? — спросил Майборода.

Лопахин отрицательно качнул головой. Желтое, измятое бессонницей лицо его вдруг сморщилось, и он отвернулся, но быстро овладел собой, твердым голосом сказал:

— Пойду, старшине доложу, а ты... ты покури пока.

Старшина любил поговорить, Лопахин это знал и больше всего боялся, что у могилы лейтенанта, оскорбляя слух, кошунственно зазвучат пустые и ненужные, казенные слова. Он с тревогой и недоверием смот-

рел на старое рыжеусое, с припухшими глазами лицо старшины, переводил взгляд на ремни и потрепанную полевую сумку лейтенанта, которую старшина осторожно прижимал к груди левой рукой.

Только вчера он, Лопахин, пил водку в окопе лейтенанта, всего лишь несколько часов назад и эта сумка и пропотевшие ремни португени плотно прилегали к горячему, ладному телу лейтенанта, а сейчас лежит это же тело у края могилы, неподвижное и как бы укороченное смертью, лежит мертвый лейтенант Голощеков, завернутый в окровавленную плащ-палатку, и не тают, не расплзаются на бледном лице его капельки дождя; и вот уже подходит последняя минута прощания...

Лопахин вздрогнул, когда старшина хрипло и тихо заговорил:

— Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты! Мы хороним нашего лейтенанта... Он был тоже с Украины, только области он был соседней со мной. Днепропетровской. У него там, на Украине, мать-старуха осталась, жинка и трое мелких детишек, это я точно знаю... Он был хороший командир и товарищ, вы сами знаете, и не об этом я хочу сейчас сказать... Я хочу сказать возле этой дорогой могилы...

Старшина умолк, подыскивая нужные слова, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал:

— Глядите, сыны, какой великий туман кругом! Видите? Вот таким же туманом черное горе висит над народом, какой там, на Украине нашей и в других местах под немцем остался! Это горе люди и ночью спят — не заспят и днем через это горе белого света не видят... А мы об этом должны помнить всегда: и сейчас, когда товарища похороняем, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале будет возле нас играть. И мы всегда помним! Мы на восток шли, а глаза наши глядели на запад. Давайте туда и будем глядеть до тех пор, пока последний немец от наших рук не ляжет на нашей земле! Мы, сынки, отступали, но бились как полагается, вон сколько нас осталось: раз, два — и обчелся... Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно... Только и радости, что не стыдно, но и не легко! От земли в гору нам глаза подымать пока рано. Рано подымать! А я так хочу, чтобы нам не стыдно было поглядеть в глаза сиротам нашего убитого товарища лейтенанта, чтобы не стыдно было поглядеть в глаза его матери и жене и чтобы могли мы им, когда свидимся, сказать честным голосом: «Мы идем кончать то, что начали вместе с вашим сыном и отцом, за что он, ваш дорогой человек, жизнь свою на Донщине отдал, — немца идем кончать, чтоб он выдох!» Нас потрепали, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре. Но я старый среди вас человек и солдат старый — слава богу, четвертую войну ломаю — и знаю, что живая кость мясом всегда обрастет. Обрастет и мы! Пополнится наш полк людьми, и вскорости опять пойдем мы хоженной дорогой, назад, на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем... Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется!

Старшина трудно, по-стариковски, преклонил одно колено и, нагнувшись над телом лейтенанта, сказал так тихо, что взволнованный Лопахин еле расслышал:

— Может, и вы, товарищ лейтенант, еще услышите нашу походку... Может, и до вашей могилки долетит ветер с Украины...

Двое бойцов соскочили в могилу, бережно приняли на руки негнущееся тело лейтенанта. Не подымаясь с колен, старшина бросил горсть песчаной земли и поднял руку.

Быстро вырос над могилой маленький песчаный холмик, оттремел

троекратный ружейный салют, и, с удесытеренной и разгневанной силой, продолжая его, загрохотала расположенная неподалеку гаубичная батарея.

Никогда еще не было у Лопахина так тяжело и горько на сердце, как в эти часы. Ища одиночества, он ушел в лес, лег под кустом. Мимо медленно прошли Копытовский и еще один боец. Лопахин слышал, как, захлебываясь от восхищения и зависти, Копытовский говорил:

— ...новенькая дивизия, она недавно подошла сюда. Видал, какие ребята? Что штаны на них, что гимнастерки, что шинельки — все с иголки, все блестит! Нарядные, черти, ну просто как женихи! А на себя глянул — батюшки светлы! — как, скажи, я на собачьей свадьбе побывал, как, скажи, меня двадцать кобелей рвали! Одна штанина в трех местах располованная, а зашить нечем, нитки все кончились. Гимнастерка на спине вся сопрела от пота, лентами ползет и уже на бредень стала похожа. Про обувь и говорить нечего: левый сапог рот раззявил, и неизвестно, чего он просит — то ли телефонного провода на перевязку подошвы, то ли настоящей починки... А кормятся они как? Точно в санатории! Рыбу, глушенную бомбами, ловят в Дону; при мне в котел такого сазана завалили, что ахнешь! Живут, как на даче. Так, конечно, можно воевать. А побывали бы в таком переплете, как мы вчера, сразу облиняли бы эти женихи!

Лопахин лежал, упершись локтями в рыхлую землю, устало думая о том, что теперь, пожалуй, остатки полка отправят в тыл на переформирование или на пополнение какой-либо новой части, что этак, чего доброго, придется надолго проститься с фронтом, да еще в такое время, когда немец осатанело прет к Волге и на фронте дорог каждый человек. Он представил себя с тощим «сидором» за плечами, уныло бредущим куда-то в неведомый тыл, а затем воображение подсказало ему и все остальное: скучная, лишенная боевых тревог и радостей жизнь в провинциальном городке, пресная жизнь запасника, учения за городом, в выжженной солнцем степи, стрельбы по деревянным макетам танков и нудные наставления какого-нибудь бывалого лейтенанта, который по долгу службы и на него, Петра Лопахина, уже прошедшего все огни и воды и медные трубы, будет смотреть, как на молодого, лопоухого призывника... Лопахин с негодованием повертел головой, заерзал на месте. Нет, чорт возьми, не для него эта тихая жизнь! Он предпочитает стрелять по настоящим немецким танкам, а не по каким-то там глупым макетам, и идти на запад, а не на восток, и лишь на худой конец постоять немного здесь, у Дона, перед новым наступлением. Да и что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища?

Нет Стрельцова, с которым они подружились простой и крепкой солдатской дружбой. Насмешливый, злой на язык весельчак Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая, и, глядя на них, старшина Поприщенко — медлительный пожилой украинец — не раз говорил: «Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить то тесто и слепить из чего человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек, а может, и нет, — кто ж его знает, что из этого месива вышло бы!» Стрельцова нет, вчера его контузило, и неизвестно, куда попадет он после госпитализации; только за один вчерашний день погибли Звягинцев, повар Лисиченко, Кочетыгов, сержант Никифоров, Борзых... Сколько их, боевых друзей, осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова до Дона! Они лежат на родной, поруганной врагом земле и



Лопухин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова...

безмолвно вызывают об отмщении, а он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя?!

Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина.

«Буду просить, чтоб оставили меня в действующей части. Кончен бал, никуда я отсюда не пойду!» решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника.

Он прошел не больше двадцати шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стоящего к нему спиной Стрельцова и еще трех неизвестных красноармейцев.

— Николай! — крикнул Лопахин, не помня себя от радости.

Красноармейцы выжидающе взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил.

— Николай! Откуда ты, чортушка?! — снова крикнул Лопахин веселым, дрожащим от радости голосом.

Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину.

— Дружище, откуда же ты взялся? — еще издали прокричал Лопахин.

Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне.

Они сошлись возле недавно открытой щели с празднично желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова, задыхаясь от волнения, сказал:

— Какого чорта! Я тебе ору во всю глотку, а ты молчишь. В чем дело? Говори же, откуда ты, как? Почему ты здесь очутился?

Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и наконец сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова:

— Петька! До чего я рад, ты просто не поймешь!.. Я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас... Тут столько нар-р-роду...

— Откуда же ты взялся? Тебя же в медсанбат отправили! — воскликнул Лопахин.

— И вдруг смотрю — он! Лопахин! А где же остальные?

— Да ты что, приглож немного? — удивленно спросил Лопахин.

— Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел! Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан, артиллерист, сказал, что всё оттуда отводится, — еще сильнее заикаясь, сияя черными глазами, проговорил Стрельцов.

Лопахин, все еще не осознавая того, что произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцова по плечу.

— Э, братишечка, да ты основательно недослышишь! Вот у нас с тобой и получается, как в присказке: «Здорово, кума!» — «На рынке была». — «Аль ты глуха?» — «Купила петуха». Да ты что, на самом деле недослышишь? — уже значительно громче спросил Лопахин. — И говоришь как-то неровно, заикаешься... Постой... Так это же у тебя после контузии? Вот оно что!

Лопахин густо побагровел от досады на самого себя и с острой болью взглянул в изменившееся, но по-прежнему улыбающееся лицо

Стрельцова. А тот положил на плечо Лопахина вздрагивающую руку, мучительно, тяжело заикаясь, сказал:

— Давай присядем, Петя. Со мной трудно разговаривать, я после того случая с бомбой ничего не слышу. И вот... видишь, заикаться стал... Ты пиши, а я тебе буду отвечать.

Он присел возле щели, достал из грудного кармана засаленный блокнотик и карандаш. Лопахин выхватил у него из рук карандаш, быстро написал: «Понимаю, ты удрал из медсанбата?» Стрельцов заглянул ему через плечо, сказал:

— Ну, как сказать — удрал... Ушел — это вернее. Я говорил врачу, что уйду, как только мне станет полегче.

«За каким чортом? Тебе, дураку, лечиться надо!» написал Лопахин и с такой яростью нажал на восклицательный знак, что сердечко карандаша сломалось.

Стрельцов прочитал и удивленно пожал плечами.

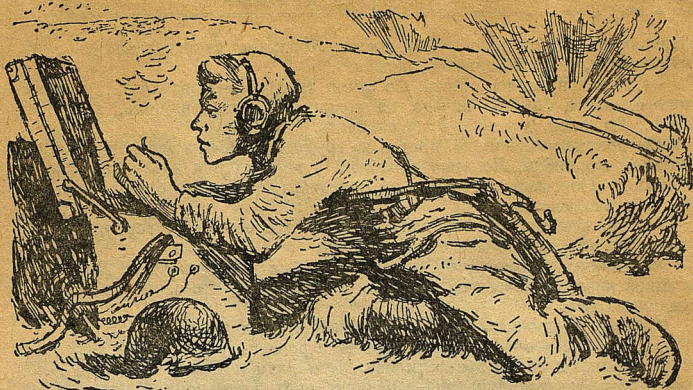
— Как же это — за каким чортом? Кровь из ушей у меня перестала итти, тошноты почти прекратились. Чего ради я там валялся бы? — Он мягко взял из рук Лопахина карандаш, достал перочинный ножик и, зачиня карандаш, сдувая с колена крохотные стружки, сказал: — А потом я просто не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом положении, вас осталось немного... Как я мог не притти? Вот я и пришел. Дратсья рядом с товарищами ведь можно и глухому. Верно, Петя?

Гордость за человека, любовь и восхищение заполнили сердце Лопахина. Ему хотелось обнять и расцеловать Стрельцова, но горло внезапно сжала горячая спазма, и он, стыдясь своих слез, отвернулся, торопливо достал кисет.

Низко опустив голову, Лопахин сворачивал папироску и уже почти совсем приготовил ее, как на бумагу упала большая светлая слеза, и бумага расплзлась под пальцами Лопахина...

Но Лопахин был упрямый человек: он оторвал от старой, почерневшей на сгибах газеты новый листок, осторожно пересыпал в него табак и папироску все же свернул.





Конст. Симонов

СЫН АРТИЛЛЕРИСТА

Был у майора Деева
Товарищ, майор Петров,
Дружили еще с гражданской,
Еще с двадцатых годов.
Вместе рубали белых
Шашками на скаку,
Вместе потом служили
В артиллерийском полку.

А у майора Петрова
Был Ленька, любимый сын,
Без матери, при казарме,
Рос мальчишка один.
И если Петров в отъезде —
Бывало вместо отца
Друг его оставался
Для этого сорванца.

Вызовет Деев Леньку:
— А ну, поедем гулять,
Сыну артиллериста
Пора к коню привыкать! —
С Ленькой вдвоем поедет
В рысь, а потом в карьер.

Бывало Ленька спасует,
Взять не сможет барьер.

Свалится и захнычет.
— Понятно, еще малец! —
Деев его поднимет,
Словно второй отец,
Подсадит снова на лошадь:
— Учись, брат, барьеры брать!
Держись, мой мальчик, на свете
Два раза не умирать.

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была.
Прошло еще два-три года,
И в стороны унесло
Деева и Петрова
Военное ремесло.

Уехал Деев на Север
И даже адрес забыл.
Увидеться — это б здорово!

А писем — он не любил.
Но оттого, должно быть,
Что сам уж детей не ждал,
О Леньке с какой-то грустью
Иногда вспоминал.

Десять лет пролетело.
Вдруг кончилась тишина,
Внезапно загрохотала
Над родиною война.
Деев дрался на Севере;
В полярной глуши своей
Иногда по газетам
Искал имена друзей.

Однажды нашел Петрова:
— Значит, жив и здоров! —
В газете его хвалили,
На Юге дрался Петров.
Потом, приехавши с Юга,
Кто-то сказал ему,
Что Петров Николай Егорыч
Геройски погиб в Крыму.

Деев вынул газету,
Спросил: какого числа?
И с грустью понял, что почта
Сюда слишком долго шла.
А вскоре в один из пасмурных
Северных вечеров
К Дееву в полк назначен
Был лейтенант Петров.

Деев сидел над картой
При двух чадающих свечах.
Вошел высокий военный,
Косая сажень в плечах.
В первые две минуты
Майор его не узнал,
Лишь голос у лейтенанта
О чем-то напоминал.

— А ну повернитесь к свету. —
И свечку к нему поднес.
Все те же детские губы,
Тот же курносый нос.
А что усы, так ведь это
Сбрить! — и весь разговор.
— Ленька? — Так точно, Ленька,
Он самый, товарищ майор!

— Значит, окончил школу,
Будем вместе служить.

Жаль, до такого счастья
Отцу не пришлось дожить. —
У Леньки в глазах блеснула
Непрошенная слеза.
Он, скрипнув зубами, молча
Отер рукавом глаза.

И снова пришлось майору,
Как в детстве, ему сказать:
— Держись, мой мальчик, на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была.

А через две недели
Шел в скалах тяжелый бой.
Чтоб выручить всех, был должен
Кто-то рискнуть собой.
Майор к себе вызвал Леньку,
Взглянул на него в упор.
— По вашему приказанью
Явился, товарищ майор.

— Ну что ж, хорошо, что явился.
Оставь документы мне,
Возьмешь с собою радиста,
Радио на спине.
И через фронт, по скалам,
Ночью в немецкий тыл
Пройдешь по такой тропинке,
Где никто не ходил.

Будешь оттуда по радио
Вести огонь батарей.
Ясно? — Так точно, ясно.
— Ну, так иди скорей.
Нет, погоди немножко. —
Майор на секунду встал,
Как в детстве, двумя руками
Леньку к себе прижал:

— Идешь на такое дело,
Что трудно притти назад.
Как командир тебя я
Туда посылать не рад,
Но как отец... Ответь мне:
Отец я тебе иль нет?
— Отец, — сказал ему Ленька
И обнял его в ответ.

— Так вот, как отец, раз вышло
На жизнь и смерть воевать,
Отцовский мой долг и право
Сыном своим рисковать;
Раньше других я должен
Сына вперед посылать.
Держись, мой мальчик, на свете
Два раза не умирать.

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была.
— Понял меня? — Все понял.
Разрешите итти? — Иди! —
Майор остался в землянке,
Снаряды рвались впереди.

Где-то гремело и ухало.
Майор следил по часам.
В сто раз ему было б легче,
Если бы шел он сам.
Двенадцать — сейчас, наверно,
Прошел он через посты.
Час — сейчас он добрался
К подножию высоты.

Два — он теперь, должно быть,
Ползет на самый хребет.
Три — поскорей бы, чтобы
Его не застал рассвет.
Деев вышел на воздух —
Как ярко светит луна!
Не могла подождать до завтра,
Проклята будь она!

Всю ночь, шагая, как маятник,
Глаз майор не смыкал,
Пока по радио утром
Донесся первый сигнал:
«Все в порядке, добрался.
Немцы влево меня.
Координат — три, десять,
Скорей давайте огня!»

Орудия зарядили,
— Майор рассчитал все сам,
И с ревом первые залпы
Ударили по горам.
И снова сигнал по радио:
«Немцы правей меня.
Координат — пять, десять,
Скорее еще огня!»

Летели земля и скалы,
Столбом поднимался дым,
Казалось, теперь оттуда
Никто не уйдет живым.
Третий сигнал по радио:
«Немцы вокруг меня.
Бейте — четыре, десять,
Не жалейте огня!»

Майор побледнел, услышав —
Четыре, десять — как раз
То место, где его Ленка
Должен сидеть сейчас.
Но, не подавши виду,
Забыл, что он был отцом.
Майор продолжал командовать
Со спокойным лицом:

— Огонь! — Летели снаряды.
— Огонь! — Заряжай скорей!
По квадрату четыре — десять
Било пять батарей.
Радио час молчало.
Потом донесся сигнал:
«Молчал — оглушило взрывом,
Бейте, как я сказал.

Я верю, свои снаряды
Не могут тронуть меня.
Немцы бегут, нажмите,
Дайте море огня!»
И на командном пункте,
Приняв последний сигнал,
Майор в оглохшее радио,
Не выдержав, закричал:

— Ты слышишь меня, я верю,
Смертью таких не взять,
Держись, мой мальчик, на свете
Два раза не умирать.
Никто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
У майора была.

В атаку пошла пехота,
К полудню была чиста
От убежавших немцев
Скалистая высота.
Всюду валялись трупы,
Раненый, но живой,
Был найден в ущелье Ленка
С обвязанной головой.

Когда размотали повязку,
Что наспех он завязал,
Майор поглядел на Леньку
И вдруг его не узнал.
Был он все тот же, прежний,
Спокойный и молодой,
Все те же глаза мальчишки,
Но только — совсем седой.

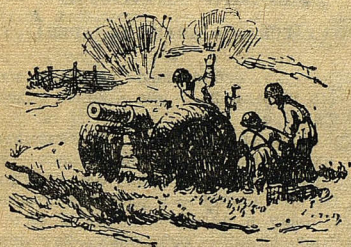
Он обнял майора, прежде
Чем в госпиталь уезжать:
— Держись, отец, на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка
Теперь у Леньки была...

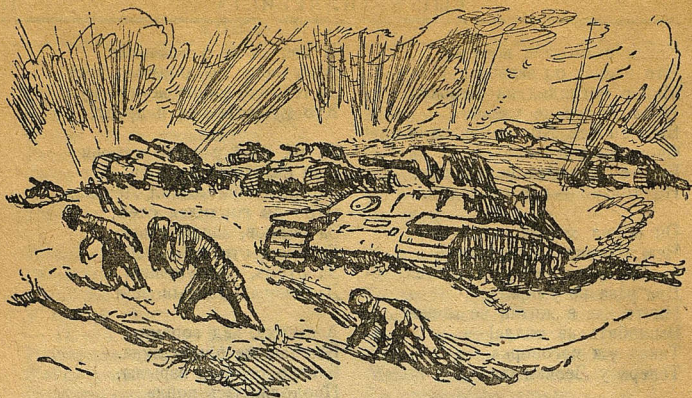
Вот такая история
Про славные эти дела
На полуострове Среднем
Рассказана мне была.

И при свече в землянке
В ту ночь мы подняли тост
За тех, кто в бою не дрогнул,
Кто мужественен и прост!

За то, чтоб у этой истории
Был счастливый конец,
За то, чтобы выжил Ленька,
Чтоб им гордился отец,
За бойцов, защищавших
Границы страны своей,
За отцов, воспитавших
Достойных их сыновей!

А вверху, над горами,
Все так же плыла луна.
Близко грохали взрывы,
Продолжалась война.
Трещал телефон, и, волнуясь,
Командир по землянке ходил,
И кто-то так же, как Ленька,
Шел к немцам сегодня в тыл.





Алексей Толстой

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

ИЗ РАССКАЗОВ ИВАНА СУДАРЕВА

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других замечен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъязном, тянутся: каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей бываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про

жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий. — Любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть...

Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте — очень, мол, хорошая девушка и уж если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил много разглаговольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

— ...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, — кричит, — полный газ!» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволom-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок — брызги! Как даст еще в башню — он и хобот задрал... Как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А грязно, понимаешь, — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск! Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще — и проутюжил, — остальные руки вверх — и «Гитлер капут»...

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекли кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев. — Слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

«Бывает хуже, — сказал он. — С этим жить можно».

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе.

Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой, к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком семнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь; высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунул руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привернутой лампы над столом она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы, — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка!..» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку — и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций: хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

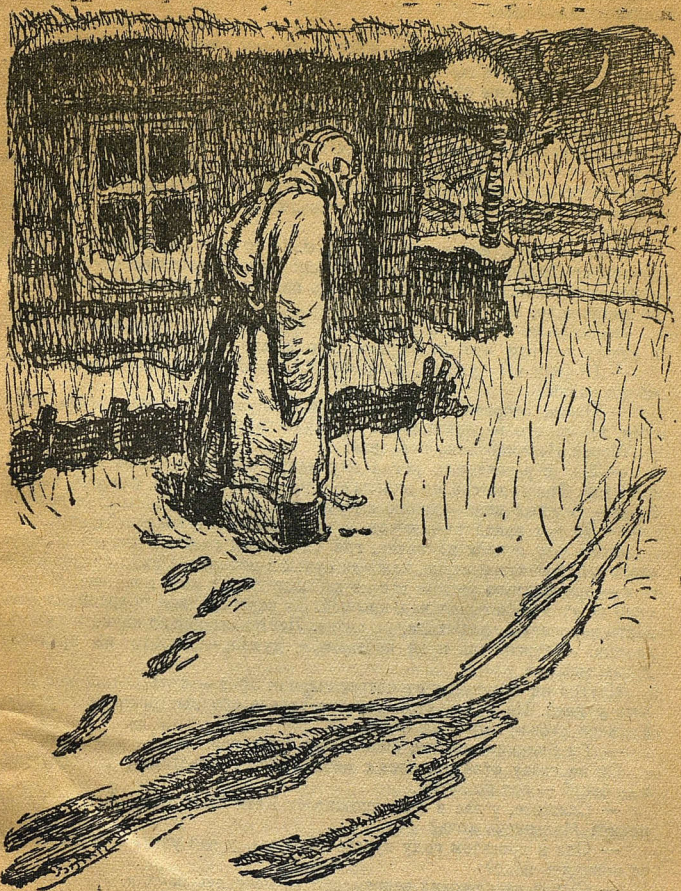
— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку — ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того



В село он пришел, когда уже были сумерки.

5626

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТЕВОЙ КНИЖИ
ДЕТГИЗА

693925

Российская государственная
детская библиотека

было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться — встать, сказать: «Да признайте же вы меня, уroda, мать, отец!..» Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать. Мать, собери чего-нибудь для гостя.

Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, — он там и стоял, — где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать.

Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна, и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск — к нам съездить на побывку. Три года его не видала — чай, вырослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицом в ладони. «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров — мать осторожно возилась у печи. На протянутой веревке висели его выстиранные портянки. У двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшеничные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга: свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и, будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти — сегодня же.

Мать напекла пшеничных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства.

Егор Егорович захопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сильным голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так: пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это: «Совсем, — говорит, — ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться? Если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно». Уговаривает меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне Христа-ради, надоумь ты меня: что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему:

— Вот, — говорю, — характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить...

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее, и так далее, на четырех страницах мелким почерком. Он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегает солдат и — Егору Дремову:

— Товарищ капитан, вас спрашивают...

Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу — он впереди меня, и я слышу:

— Мама, здравствуй, это я!..

И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Огляды-

ваюсь — тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово: есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны.

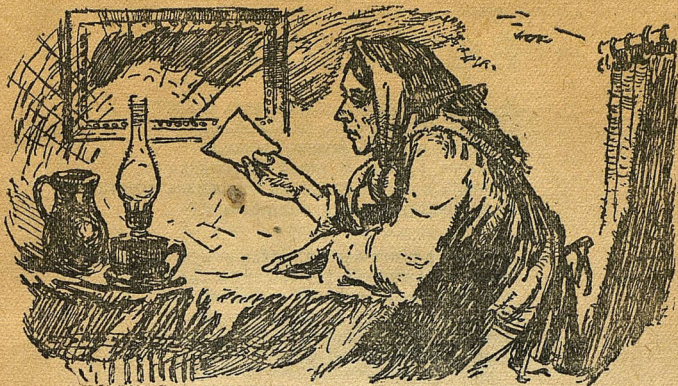
— Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу:

— Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.





Сергей Михалков

МАТЬ

По большаку правее полустанка,
Итти пять верст — деревня Хуторянка.
Спервоначалу были хутора,
Да разрослись. И стали год за годом
Дружнее жить, богаче быть народом —
Деревней стали. Сорок два двора.

Вокруг луга — есть чем кормить скотину,
Густы леса — орешник да малина.
Всего хватает: и грибов и дров.
Сойдешь под горку, тут тебе речушка,
А там, глядишь, другая деревушка,
Но в той уже поменее дворов.

Живет народ, других не обижая,
От урожая и до урожая,
От снега до засушливой поры.
И у соседей хлебушка не просит.
И в пору сеет. В пору сенокосит.
Коней кует. И точит топоры.

И землю под озимые боронит,
Гуляет свадьбы, стариков хоронит,
И песни молодежные поет,
Читает вслух газетные страницы...

За тридевять земель Москва-столица,
И дальний поезд до нее везет...

В родной деревне, третья хата с краю,
Другой судьбы себе не выбирая,
Полвека честной жизни прожила
Хохлова Груша. В тихой Хуторянке
Прошла в труде крестьянской жизнь крестьянки,
И не заметишь, как она прошла.

Здесь в девках бегала, здесь замуж захотела,
Здесь на гулянках парня присмотрела,
Вошла к нему хозяйкой в бедный дом.
Здесь называлась Грушею-солдаткой,
Здесь поседела первой белой прядкой,
Здесь вынянчила четырех с трудом.

Она порой сама недоедала,
Чтоб только детям поровну хватало,
Чтоб сытыми вставали от стола.
Она с утра к соседям уходила,
Белье стирала и полы скоблила —
В чужих домах поденщину брала.

Она порой сама недосыпала,
Ложилась поздно и чуть свет вставала,
Чтоб только четверым хватало сна.
И выросли хорошие ребята,
И стала им тесна родная хата,
И узок двор, и улица тесна.

Последнего она благословила.
Домой пришла, на скобку дверь закрыла,
Не раздеваясь, села в уголок.
Стучали к ней — она не открывала,
И в первый раз ей было дела мало —
Все плакала, прижав к лицу платок.

Она с людьми тоской не поделилась.
Никто не видел, как она молилась
За четверых крестьянских сыновей,
Которых не вернуть теперь до дому,
Которым жить на свете по-иному —
Не в Хуторянке, а в России всей...

...Она хранила бережно в комоде:
Из Ленинграда письма от Володи,
Из Сталинграда письма от Ильи,
Одесские открытки от Андрея
И весточки от Гриши с батареей
Из Севастополя. От всей семьи.

В июньский полдень в тесном сельсовете
По радио — еще не по газете, —
Когда она услышала: «Война!»,
Как будто бы по сердцу полоснули.
Как села, так и замерла на стуле —
О сыновьях подумала она.

Пришла домой. Тиха пустая хата.
Наседка квохчет, просят есть цыплята,
Стучит в стекло, не вырвется, пчела.
Четыре мальчика! Четыре сына!
И в этот день еще одна морщина
У добрых материнских глаз легла.

...Косили хлеб. Она снопы вязала
Безустали. Ей все казалось мало!
Быстрее надо! Жаль, не те года!
И солнце жгло, и спину ей ломило,
И мать-крестьянка людям говорила:
— Там — сыновья. И хлеб идет *Туда!*

А сыновья писали реже, реже,
Но штемпеля на письмах были те же:
Одесса, Севастополь, Сталинград
И Ленинград, где старший сын Володя,
Работая на Кировском заводе,
Варил ежи для нарвских баррикад.

Когда подолгу почты не бывало,
Мать старые конверты доставала,
Читала письма, и мечталось ей:
Нет на земле честнее и храбрее,
Нет на земле сильнее и добрее
Взращенных ею молодых парней.

Страна гудела, как пчелиный улей.
Все слышали, как третьего июля
Товарищ Сталин нам сказал: «Друзья!»
Крестьянка-мать сидела в сельсовете
И, слушая слова простые эти,
Подумала: «Ответьте, сыновья!»

Тревожные в газетах сводки были,
И люди об Одессе говорили,
Как говорят о самом дорогом.
Старушка-мать — она за всем следила —
Шептала ночью: «Где же наша сила,
Чтоб мы могли справиться с врагом?»

О, как она бессонными ночами
Хотела повидаться с сыновьями,
Пусть хоть разок, пусть — провожая в бой,
Сказать бойцу напутственное слово.

Она ведь ко всему теперь готова,
На много дней глядит перед собой.

Но не могло ее воображенье
Себе представить город в окруженье,
Немецких танков черные ряды,
К чужой броне в крови прилипший колос,
Не слышала она Андрея голос:
«Я ранен в грудь... товарищи... воды».

Пришел конверт. Еще не открывала,
А сердце матери уже как будто знало...
В углу листка — армейская печать...
Настанет день, Одесса будет наша,
Но прежних строчек: «Добрый день, мамаша!» —
Ей никогда уже не прочитать...

...Глаза устали плакать, стали суше,
Со временем тоска и горе глуше.
Дров запасла — настали холода.
Шаль распустила — варежки связала,
Потом вторые, третьи... Мало, мало!
Побольше бы! Они нужны — *Туда!*

Все не было письма из Ленинграда,
И вдруг она услышала: «Блокада».
Тревожно поспешила в сельсовет,
Секретаря знакомого спросила,
Тот пояснил... Опять душа заныла,
Что от Володи писем нет и нет.

Пекла ли хлеб, варила ли картошку,
Все думала: «Послать бы хоть немножко,
За тыщу верст сама бы понесла!»
И стыли щи, не тронутые за день.
Болея о голодном Ленинграде,
Старуха-мать обедать не могла.

Она была и днем и ночью с теми,
Кто день и ночь всегда, в любое время,
Работал, защищая Ленинград,
И выполнял военные задания
Ценой бессонницы, недоедания —
Любой ценой, как люди говорят...

...Опять скворцы в скворешни прилетели.
Дороги по весне потяжелели —
Опять в грязи завязли передки...
Из Севастополя прислал письмо Григорий:
«Воюем, мать, на суше и на море.
Вот как у нас дерутся моряки!»

Она письмо от строчки и до строчки
Пять раз прочла. Потом к соседской дочке
Зашла и попросила почитать.
Хоть сотню раз могла она прослушать,
Что пишет сын про море и про сушу
И про свое умение воевать.

И вдруг за ней пришли из сельсовета.
В руках у председателя газета:
«Смотри-ка, мать, на снимок. Узнаешь?»
Взглянула только. «Сердце, тише, тише!
Он! Родненький! Недаром снился! Гриша!
Ну до чего стал на отца похож!»

Собрали митинг, вызвали на сцену
Героя мать — Хохлову Аграфену.
Она к столу сторонкой подошла
И поклонилась. А когда сказали,
Что Грише на войне Героя дали,
Заплакала. Что мать сказать могла?..

...Шла с ведрами однажды от колодца.
Подходит к дому — видит краснофлотца.
Дух захватило: Гриша у крыльца!
Подходит ближе, видит — нет, не Гриша:
В плечах поуже, ростом чуть повыше
И рыженький, веснучатый с лица.

«Вы будете Хохлова Аграфена?»,
И трубочку похлопал о колено.
«Я самая! Входи, сынок, сюда!»
Помог в сених поднять на лавку ведра,
Сам смотрит так улыбочиво и бодро —
Так к матери не входят, коль беда.

А мать стоит, глядит на краснофлотца,
Самой спросить — язык не повернется,
Зачем и с чем заехал к ней моряк.
Сел краснофлотец: «Стало быть, мамаша,
Здесь ваша жизнь и все хозяйство ваше!
Как управляетесь одна? Живете как?»

Мне командир такое дал задание:
Заехать к вам и оказать внимание,
А если что, помочь без лишних слов». —
«Ты не томи, сынок! Откуда, милый?
И кто послал-то, господи помилуй?» —
«Герой Союза — старшина Хохлов!»

Как вымолвил, так с плеч гора свалилась.
Поправила платок, засуетилась:
«Такой-то гость! Да что же я сижу?
Вот горе-то! Живем не так богато —

В деревне нынче с водкой плоховато,
Чем угостить, ума не приложу!»

Пьет краснофлотец чай за чашкой чашку,
Распарился, хоть и спору снять тельняшку,
И, вспоминая жаркие деньки,
Рассказывает гладко и толково.
И мать в рассказ свое вставляет слово:
«Вот как у нас дерутся моряки!»

Их никакая сила не сломила.
Не описать, как людям трудно было,
А всё дрались — посмотрим, кто кого!
И убивали немцев без пощады,
И Севастополь дрался так, как надо.
Пришел приказ — оставили его...

«А Гриша где?» — «Теперь под Сталинградом,
В морской пехоте». — «Значит, с братом рядом?
Там у меня еще сынок — Илья.
Тот в летчиках, он у меня крылатый.
Один — рабочий, три ушли в солдаты».
Моряк в ответ: «Нормальная семья!»

Она его накрыла одеялом,
Она ему тельняшку постирала,
Она ему лепешек напекла,
Крючок ослабший намертво пришила
И за ворота утром проводила
И у ворот, как сына, обняла...

...В правлении колхоза на рассвете
Толпились люди. Маленькие дети
У матерей кричали на руках,
Ребята, что постарше, не шумели,
Держась поближе к матерям, сидели
На сундучках, узлах и узелках.

Они доехали. А многие убиты —
По беженцам стреляли «мессершмитты»,
И «юнкеры» бомбили поезда.
Они в пути тяжелом были долго.
За их спиной еще горела Волга,
Не знавшая такого никогда.

Теперь они в чужом селе, без крова.
Им нужен кров и ласковое слово.
И мать солдатская решила: «Я одна...
Есть у меня картошка, есть и хата,
Возьму семью, где малые ребята,
У нас у всех одна беда — война».

Тут поднялась одна из многих женщин
С тремя детьми — один другого меньше,

Три мальчика. Один еще грудной.
«Как звать сына-то?» — «Как отца — Анисим.
Сам на войне, да нет полгода писем...» —
«Ну, забирай узлы, пойдем со мной!»

...И стали жить. И снова, как бывало,
Она пеленки детские стирала,
Опять повисла люлька на крюке...
Все это прожито, все в этой хате было,
Вот так она ребят своих растила,
Скучая о солдате-мужике.

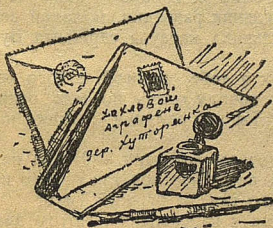
* * *

В большой России, в маленьком селенье,
За сотни верст от фронта, в отдаленье,
Но ближе многих, может быть, к войне,
Седая мать по-своему воюет
И по ночам о сыновьях тоскует
И молится за них наедине.

Когда Москва вещала нам: «Внимание!
В последний час...» и, затаив дыханье,
Мы слушали про славные бои
И про героев грозного сраженья,
Тебя мы вспоминали с уважением,
Седая мать. То — сыновья твои.

Они идут дорогой наступленья
В измученные немцами селенья,
Они освобождают города
И на руки детишек поднимают,
Как сыновей, их бабы обнимают —
Ты можешь, мать, сынами быть горда!

И если иногда ты заскучаешь,
Что писем вот опять не получаешь,
И загрустишь и дни начнешь считать,
Душой болеть — опять Илья не пишет,
Молчит Володя, нет вестей от Гриши, —
Ты не грусти! Они напишут, мать!





Арк. Гайдар

ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСКИ

1. РАКЕТЫ И ГРАНАТЫ

Десять разведчиков под командой молодого сержанта Ляпунова крутой тропкой спускаются к речному броду.

Бойцы торопятся. Темнеет, и надо успеть в последний раз на ночь перекурить в покинутом пастушьем шалаше, близ которого расположился и окопался полевой караул сторожевой заставы.

Дальше, где-то на том берегу, — враг. Его надо разыскать. Пока десять человек влежку — голова к голове — жадно затягиваются крепким махорочным дымом, начальник разведки, молодой сержант Ляпунов, такого же молодого начальника караула сержанта Бурыкина предупреждает:

— Пойдем назад, так я тебе, дорогой, с того берега пропуск орать не буду. И ты по этому поводу огонь по мне открывать не вздумай. Я вышлю бойца вперед. Ты его оклики с берега на воду тихо. Он подойдет, тогда скажет.

— Знаю, — важно отвечает Бурыкин. — Наука нехитрая.

— То-то нехитрая! А вчера часовой так громко крикнул, что противник мог бы услышать. Что там, на берегу? Тихо?

— Две ракеты вот так в направлении. Потом два выстрела, — объяс-

сняет Бурыкин. — Иногда ветер дунет — тарыхтит что-то. Да! Потом самолет прилетал, разведчик. Покрутился, покружился да вон туда, сволочь, скрылся.

— Самолет — хищник неба, — солидно говорит сержант Ляпунов, — а наше дело — шарь по земле, по траве и по лесу. Ну! — сурово поворачивается он. — Как, перекурили? И какая у меня мечта — это некурящая разведка, а они без табачной соски жить не могут.

Подвесив на шею патронташи, держа над водой винтовки и гранаты, темная цепочка переходит реку.

Голубоватым огоньком мерцает над волнами яркий циферблат компаса на руке сержанта.

Выбравшись на лесную опушку, сержант отстегивает светящийся компас, прячет его в карман, и безмолвная разведка исчезает в лесной чаще.

Ядро разведки движется по лесной дорожке. Два человека впереди, по два слева и справа. Через каждые десять минут без часов, без команды, по чутью, разведка останавливается. Упершись прикладами в землю, опустившись на колени, затаив дыхание, люди напряженно вслушиваются в ночные звуки и шорохи.

Чу! Прокричал где-то еще не сожранный немцами петух.

Потом что-то вдалеке загудело, звякнуло, как будто бы стукнулись буферами два пустых вагона.

А вот что-то затарахтело... Это мотор. Здесь где-то бродят мотоциклисты. Их надо разыскать во что бы то ни стало.

Из темноты возникает красноармеец Мельчаков и, запыхавшись, докладывает:

— Товарищ сержант, на пригорке, через дорогу, под ногами — провод.

Сержант идет вперед. Он ощупывает провод рукою и раздумывает: идти по проводу влево или вправо? Но оказывается, что слева провод уходит в топкое болото. Нога вязнет, и сапог с трудом выдирается из липкой грязи. Вправо то же самое.

К сержанту подходит Мельчаков, вынимает нож и предлагает:

— Разрешите, товарищ сержант, я провод перережу.

Сержант Мельчакова останавливает. Он хмурится, потом хватая провод, наматывает его на ножны штыка и с силой тянет. Провод подается. В болоте что-то чавкает. И вот на дорогу выползает тяжелый камень.

Сержант торжествует. Ага, значит провод фальшивый. Так и есть: на другом конце провода привязан и заброшен в осоку кусок железной рессоры.

— «Перережу, перережу!» — передразнивает сержант Мельчакова. — «Товарищ сержант, доношу, что телефонную связь между двумя батальонами болотных лягушек уничтожил». Очень ты, Мельчаков, на все тороплив. Иди вперед. Ищи. Где-нибудь неподалеку тут есть настоящий провод.

Опять слышится впереди фырчанье мотора. Разведка движется ползком по песчаной опушке. Отсюда виден за кустарником силуэт хаты. У хаты — плетень. За плетнем — неясный шум.

Сержант шопотом приказывает:

— Приготовить гранаты. Подползти к плетню. Я с тремя иду вперед справа. Гранаты бросать точно по тому направлению, куда я дам последний удар красной ракетой.

Приготовить гранаты — это значит: щелк — взвод, щелк — предохранитель, щелк — и капсуль на место.

И вот он, скрытый, готовый взорваться огонь, лежит возле груди, у самого сердца.

Проходит минута, другая, пять, десять. Ракеты нет. Наконец появляется сержант Ляпунов и приказывает:

— Разрядить гранаты. Дом брошен. Это бьется во дворе у сарая раненая лошадь. Быстро поднимайся. Берем влево. Слышите? Немцы где-то здесь, за горкой.

К сержанту подходит Мельчаков. Он мнетя и правую руку, сжатую кулаком, держит из-то странно наотлет.

— Товарищ сержант, — сконфуженно говорит он. — У меня граната не «бутылка», а лимонка. И вот — результат печальный.

— Какой результат? Что ты бормочешь?

— Она, товарищ сержант, стоит на боевом взводе.

Мгновенно, инстинктивно от Мельчакова все шарахаются.

— Химик! — отчаянным шопотом восклицает озадаченный сержант. — Так ты что... Уже чеку выдернул?

— Да, товарищ командир. Я думал: сейчас будет ракета, и я ее тут же брошу.

— «Брошу, брошу!» — огрызается сержант. — Ну, теперь держи ее в кулаке и не разжимай руки хоть до рассвета.

Положение у Мельчакова незавидное. Он поторопился, и боек гранаты теперь держится только зажатой в ладони скобой. Вставить предохранитель, не зажигая огня, нельзя. Бросить гранату в лес, в болото нельзя тоже — будет сорвана вся разведка.

Бойцы на ходу шопотом Мельчакова ругают.

— Ты куда, парень, к людям жмешься? Ты иди стороной, иди боком.

— Куда ему боком? Пусть идет дорогой, где глаже, а то о корень зацепится да как брякнет.

— Не махай рукой, не на параде! Ты ее держи, гранату, двумя руками.

В конце концов у обиженного Мельчакова забирают винтовку и его с гранатой посылают вперед, головным дозорным.

Через несколько минут ядро разведки застает его сидящим на краю дороги.

— Ты что?

— У меня тут под ногой провод, — хмуро сообщает Мельчаков.

Разведка идет по проводу. Вдруг треск моторов раздается совсем рядом. Блеснул и потух огонь. Впереди, у колхозных сараев, шум, движение. Сержант, за ним вся разведка плашмя падают на землю и ползут прочь от дороги, на которой вот-вот, вероятно, неподалеку стоит сторожевое охранение.

Двести метров разведка ползет минут сорок. Потом долго лежит недвижимо, прислушиваясь к шуму, треску и звукам незнакомого языка.

Сержант дергает Мельчакова за пятку и показывает ему на заряженную ракетницу.

Мельчаков молча и понимающе кивает головой. Сержант отползает.

Опять одна, другая, долгие минуты. Вдруг красной змейкой, показывая направление, вспыхивает брошенная сержантом ракета.

Мельчаков вскакивает и что есть силы бросает свою гранату через крышу сарая.

Раздается гром, потом вой, затем оглушительный треск моторов сливается с треском немецких автоматов.

Разведчики открывают огонь.

Загорается соломенная крыша сарая. Светло. Видны враги. Так и есть — это мотоциклетная рота.

Но вот в бестолковый треск автоматов вяжутся тяжелые пулеметы.

Перерезав в нескольких местах провод, разведка отходит.

Пальба сзади не прекращается. Теперь она будет продолжаться до рассвета.

Темно. Далеко на том берегу проснулся, конечно, командир роты. Он слышит этот огонь и думает сейчас о своей разведке.

А его разведчики шагают по лесу дружно и быстро. Несердито ругают они теперь длинноногого Мельчакова. Нетерпеливо ощупывают карманы с махоркой.

И чтобы хоть за рекой, в шалаше, он дал им вдоволь накуриться, дружно и громко хвалят они своего молодого сержанта.

2. МОСТ

Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые двадцать-тридцать метров стоят наши часовые.

Вправо по берегу за камышами, — а где точно, знают только болотные кулики да длинноногие цапли, — скрыт прикрывающий мост батальон пехоты. На другом берегу, на горе, в кустарнике, — артиллеристы-зенитчики.

По мосту к линиям боя непрерывно движутся машины с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и проезжают в город на рынок окрестные колхозники.

Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглушенную бомбами немецких «хейнкелей» рыбу.

По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно убитого осколком вола.

Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караулкой со сдвинутой набок крышей возникает связанной от батальонной пехоты красноармеец Федор Ефимкин. Он пробрался напрямик, осокой и толью. Поэтому нижняя половина его почти до пояса мокро-черная, гимнастерка же и пилотка на солнце выгорели и покрылись сухой светлосерой пылью. Рыжий ремень до того густо увешан ручными гранатами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и топорщатся во все стороны.

Он останавливается возле старшины Дворникова, который пытливо исследует рваные дыры смятого, пробитого котелка, и, козырнув, спрашивает:

— Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу неофициальному? Котелок, который имеет все попадания от фугасной бомбы, вследствие сжатия образует трещины, а также различные дыры, и его можно выбросить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на час-два одолжите мне вот ту плетеную корзинку, то вот мое слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный, крашенный во все голубое.

Старшина Дворников оборачивается:

— На что тебе корзина?

— Не могу сказать, товарищ старшина: военная тайна.

— Не дам корзины, — заявляет старшина. — Вы у нас мешок взяли и не вернули.

— Мешок, товарищ старшина, готов был к возврату. Но тут случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а в сумках у них был обнаружен грабленный материал: четыре колоды игральных карт, трусы для обоого пола, полотенца, кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное, кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок истребовать по закону.

— Ты мне зубы не заговаривай, — невольно улыбнувшись, сказал старшина. — Ты мне лучше скажи, зачем столько гранат на пояс навесил. Что у тебя тут, арсенал, цейхгауз?

— Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бросил, двух даже нехватило. У меня еще пара круглых лимонов лежит в кармане. Хо-рошая это штука для ночной разведки! Огонь яркий, звук резкий; который немец и не помрет, так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина, корзину. Вот нужно! Иначе срывается вся моя операция.

— Какая операция? — недоумевает старшина. — Ты, друг, что-то заболтался.

Старшина смотрит на Ефимкина.

Ох, и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его прямые угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку, на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную цыгарку, и сразу скажешь: «Это боевой парень».

— Возьми, — говорит старшина, — да скажи вашему лейтенанту: что же, мол, нас бомбят, а вы на самом деле внизу себе рыбу промышляете, и попроси у него — пусть пришлет на уху щурят или ершей и на нашу долю.

— Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта беспокоить, — поспешно забирая корзинку, говорит Ефимкин. — Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к вечеру за пропуском приду — целую корзину свежих лещей принесу. Высокий у вас пост, товарищ старшина, — со вздохом добавляет Ефимкин. — Мы что — у нас трава, каналы, земля, кустарники. А вы... стойте на глазах у всего света.

Ефимкин берет корзинку и, грязно-сизый, пыльный сверху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет через мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по фамилии. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощурив узкие глаза, стоит туркмен Бекетов. Этого человека вначале назначили было в разведку. Ночью в лесу он отстал, растерялся, запугался. На следующий раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командование хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но комиссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в бескрайних песках Туркмении. Леса он никогда не видел и ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на самом опасном посту. Тридцать метров над водой! На самой середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фашистские самолеты.

Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо этого часового. Он



Прислонившись спиной к железу, молча стоит часовой Бекетов.

хстел бы сказать ему что-нибудь приятное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в разведке немецких слов: «хальт» (стой), «хэнде хох» (руки вверх), «вафэн хинлэгэн» (бросай оружие), Ефимкин не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув, хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в полном недоумении, хватается на руки маленькую девчурку, сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачивая, несет ее до самого конца моста.

Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно оглядываясь, лезет под крутой откос к болоту.

Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимкиным в бинокль, теперь ясна и военная тайна и вся операция Ефимкина. Утром снарядом разбilo фургон со сливами. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив осталась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их своим товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кругом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гудят взрывы, но это далекая и не опасная для моста музыка.

Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный котелок и решительно швыряет его через перила.

Но, прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться в теплую сонную воду, раздается отрывистый, хватающий за сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит тревожный окрик: «Воздух!»

Стремительно мчатся прочь застигнутые на мосту машины, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают на луга к стогам сена, ползут в ямы, скрываются в кустарнике.

Еще одна, две... три минуты! И вот он, как сверкающий клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой у земли в ладонях грозный железный мост.

Честь и слава смелым, мужественным часовым всех военных дорог нашего великого советского края — и тем, что стоят в дремучих лесах, и тем, кто на высоких горах, и тем, кто в селениях, в селах, в больших городах, у ворот, на углах, на перекрестках, но ярче всех горит суровая слава часового, стоящего на том мосту, через который идут груженные патронами и снарядами поезда и шагают запыленные мужественные войска, направляясь к решительному бою.

Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смертью небо. Под его ногами тридцать метров пустоты, под которыми блещут темные волны. В волнах ревут брошенные с самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток и с визгом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые металлические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.

Два шага направо, два налево.

Вот и весь ход у часового.

Луга — пехота — молчат и напряженно наблюдают за боем.

Но гора — зенитчики — в гневе. Гора защищает мост всей мощью и силой своего огромного шквала.

Протяжно воют «мессершмитты». Тяжело ревут бомбардировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много — тридцать-сорок. Вот они один за другим ложатся на боевой курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, туда, где, прислонившись спиной к железу и сдвинув на лоб тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора яростно вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.

Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, зашатался и как-то тяжело пошел вниз на луг, а там обрадованно его подхватила на свой танковый пулемет пехота.

И тотчас же соседний самолет, который стремительно ринулся на цель книзу, поспешно бросив бомбы раньше, чем надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.

Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в воду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и разорван.

Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тяжелого, окованного железом носка, прикладом винтовки часовые сшибают их с моста в воду.

Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты противника беспорядочно отходят.

И вот, прежде чем связисты успеют наладить прорванный воздушной волной полевой провод, прежде чем начальник охраны поста лейтенант Меркулов донесет по телефону в штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сторону моста.

Семьсот «самолетоналетов» сделал уже противник и больше пяти тысяч бомб бросил за неделю в районе моста.

Проходят долгие, томительные минуты... пять, десять, и вдруг...

Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, заборов несутся радостные крики:

— Пошли, пошли!

— Наши тронулись!

Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двинулись через мост наши машины.

— Значит, все в порядке!

К старшине Дворникову, который стоит возле группы красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протягивает старшине новый железный котелок. Ставит на землю корзину со свежей, глушенной немецкими бомбами рыбой и говорит:

— Добрый вечер! Все целы?

Ему наперебой сообщают:

— Акимов ранен. Емельянов толкал бомбу, прожег сапог, обжег ногу.

Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение и получает у лейтенанта ночной пропуск.

Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачиваются. Через железный, кажущийся сейчас ажурным переплет моста светится луна.

Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по небу голубая ракета.

Налево, из деревушки, доносится хоровая песня. Да, песня. Да, здесь вскоре после огня и гула громко поют девчата.

Ефимкин удерживает старшину за рукав.

— Высокий у вас пост, товарищ старшина, — опять повторяет он. — Днем на двадцать километров вокруг видно, ночью — на десять все слышно.

3. У ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

У прохода через тяжелую, обшитую грубым тесом баррикаду проверили мой пропуск на выход из осажденного города.

Мне посоветовали подъехать к передовой линии на попутной машине или повозке, но я отказался. День был хороший и путь недалекий. А кроме того, на пригорках по машинам иногда открывалась стрельба минами, на одиноко же идущего человека мину тратить не расчет. Да и в случае чего пешему всегда легче во-время бухнуться в придорожную канаву.

Я шел мимо опустевших, покинутых домиков с заколоченными окнами и закрытыми воротами. Было тихо. Тарахтела трещотка, и охотились за воробьями голодные кошки.

Через сады, среди которых желтели размытые дождем бомбозащитные траншеи, я вышел на скат оврага и зацепил ногой за полевой провод.

Прикинув направление, я взял путь по проводу напрямик, потому что мне нужны были люди.

Вдруг раздался удар. Казалось, что грохнул он над самым гребнем моей стальной каски.

Быстро перелетел я в старую воронку, осторожно огляделся и увидел неподалеку замаскированный бугор дзота, из темной щели которого торчал ствол коренастой пушки.

Я спустился к дзоту и, поздоровавшись, спросил у старшего сержанта, чем его люди сейчас заняты.

Ясно, что, прежде чем ответить, сержант проверил мой пропуск, документы. Спросил, как живет Москва. Только после этого он готов был отвечать на мои вопросы.

Но тут вдалеке, вправо, послышались очень частые взрывы.

Телефонист громко спрашивал соседний дзот через телефонную трубку:

— Что у тебя? Говори громче. Почему ты говоришь так тихо? Ах, около тебя рвутся мины! А ты думаешь, что если будешь говорить громко, то они испугаются?

От таких простых слов вспыхнули улыбки в притихшем, насторожившемся дзоте. Потом раздалась суровая команда, и взревела наша пушка.

Ее поддержали соседи. Враги отвечали. Они били снарядами и дальнобойными минами.

Мины. О них уже много писали. Писали, что они режут, воют, гудят, похрапывают. Нет! Звук на полете у мины тонок и мелодично-печален. Взрыв сух и резок. А визг разлетающихся осколков похож на мяуканье кошки, которой внезапно тяжелым сапогом наступили на хвост.

Грубые, скрепленные железными скобами бревна потолочного наката вздрагивают. Через щели на плечи, за воротник сыплется сухая земля. Телефонист поспешно накрывает каской миску с гречневой кашей, не переставая громко кричать:

— Правей ноль двадцать пятью снарядами! Теперь точно! Беглый огонь!

Через пять минут огневой шквал с обеих сторон, как обрубленный, смолкает.

Глаза у всех горят, лбы влажные, люди пьют из горлышка фляжек. Телефонист запрашивает соседей, что и где случилось.

Выясняется: у одного воздухом опрокинуло бак с водой; у второго

оборвали полковой телефонный провод; у третьего дело хуже: пробили через амбразуру осколком щит орудия и ранили в плечо лучшего багрейного наводчика; у нас накопало вокруг ям, воронок, разорвало в клочья и унесло, должно быть за тучу, один промокший сапог, подвешенный красноармейцем Коноплевым у дерева под солнышком на просушку.

— Ты не шахтер, а ворона, — укоризненно ворчит сержант на красноармейца Коноплева, который задумчиво и недоуменно уставился на уцелевший сапог. — Теперь время военное. Ты должен был взять бечевку и провести отсюда к сапогу связь. Тогда, чуть что, потянул и вытащил сапог из сектора обстрела в укрытие. А теперь у тебя нет вида. Вторых, красноармеец в одном левом сапоге никакой боевой ценности не представляет. Ты бери свой сапог в руки, неси его, как факт, к старшине и объясни ему свое грустное положение.

Пока все, обернувшись, с любопытством слушали эти поучения, через дверь дзота кто-то вошел. На вошедшего сначала внимания не обратили: думали — кто-то свой из оружейного расчета. Потом спохватились. Сержант подошел отдавать начальнику рапорт.

По какому-то единому, едва уловимому движению мне стало ясно, что этого человека здесь и уважают и глубоко любят.

Лица заулыбались. Люди торопливо оправили пояса, одернули гимнастерки. А красноармеец Коноплев быстро спрятал свою босую ногу за пустые ящики из-под снарядов.

Это был старший лейтенант Мясников — командир батальона. Мы пошли с ним вдоль запасной линии обороны, где красноармейцы — в большинстве донецкие шахтеры — дружно и умело рыли ходы сообщения и окопы полного профиля.

Каждый из этих бойцов — это инженер, вооруженный топором, киркой и лопатой. Путаные лабиринты, укрытия, гнезда, блиндажи, амбразуры они строят под огнем быстро, умело и прочно. Это народ бывалый, мужественный и находчивый. Вот навстречу нам из-за кустов по лошине вышел красноармеец. Присутствие командира его на мгновение озадачивает.

Вижу, командир нахмурился, вероятно усмотрел какой-то непорядок и сейчас сделает красноармейцу замечание. Но тот, не растерявшись, идет прямо навстречу. Он веселый, крепкий, широкоплечий.

Приблизившись на пять-семь метров, он переходит на уставный «печатный» шаг, прикладывает руку к пилотке и, подняв голову, торжественно и молодежески проходит мимо.

Командир останавливается и хохочет.

— Ну, боец! Ну, молодец! — восхищенно заливается он, глядя в сторону скрывшегося в окопе бойца.

И на мой недоуменный вопрос отвечает:

— Он (боец) шел в пилотке, а не в каске, как положено. Заметил командира, деваться некуда. Он знает, что я люблю выправку, дисциплину. Чтобы замять дело, он и рванул мимо меня, как на параде. Шахтеры! — с любовью воскликнул командир. — Бывалые и умные люди. Пошли меня в другую часть, и я пойду в штаб и буду о своих шахтерах плакать.

Мы пробираемся к переднему краю. На одном из поворотов командир зацепил плащом о рукоятку лопаты. Что-то под отворотом его плаща очень ярко блеснуло. На первом же уступе я осторожно, скосив глаза, заглянул сверху на грудь командирской гимнастерки.

А вот что: там под плащом горит «Золотая Звезда». Он, лейтенант, — Герой Советского Союза.

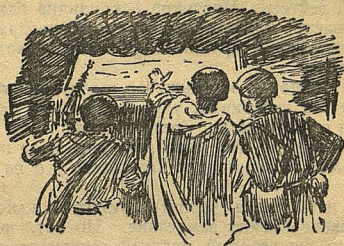
Но вот мы уже и у самого переднего края. Боя нет. Враг здесь наткнулся на твердую стену. Но берегись! Здесь, наверху, все простреливается и врагом и нами. Здесь властвуют хорошо укрытые снайперы. Здесь узкий, как жало, пулемет «ДС» может выпустить через амбразуру от семисот до тысячи пуль в одну точку из одного ствола в одну минуту.

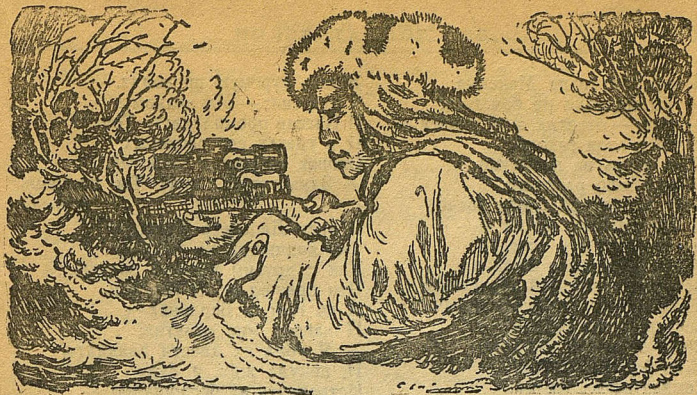
Здесь, на подступах к городу, бесславно положил свои пьяные головы не один фашистский полк. Здесь была разгромлена начисто вся немецкая дивизия.

Идет одиночная стрельба. Через узкую щель уже хорошо различается замаскированный вал вражеских окопов. Вот что-то за бугром шевельнулось, шарахнулось и под выстрелом исчезло.

Темная сила! Ты здесь! Ты рядом! За нашей спиной стоит светлый большой город. И ты из своих черных нор смотришь на меня своими жадными бесцветными глазами.

Иди! Наступай! И прими смерть вот от этих тяжелых шахтерских рук. Вот от этого высокого спокойного человека с его храбрым сердцем, горящим золотой звездой.





Евг. Долматовский

ЗАКОН ТАЙГИ

I

Шел я берегом Амура,
Краем Дальнего Восхода,
Шел, пуская дым из трубки,
Чтоб комар меня не трогал.
Стыли черные березы —
Дети каменного века,
И мохнатые фазаны
Из-под ног моих взлетали.
...Это было так недавно,
И давным-давно, быть может.
Это было в годы мира,
Мне казалось — эти чащи
Никогда еще не знали
Ни походки человека,
Ни его веселых песен.
Вдруг раздвинулись лианы,
Будто сами расступились,
И бесшумно мне навстречу
Вышел маленький охотник
В сапогах из мягкой кожи,
В шапке из осенней белки.
Вороненая берданка
На плече его висела.
Подошел и улыбнулся

Мне нанаяц смуглоскулый.
Из раскосых добрых щелок
Черные глаза блеснули.
На сто верст вокруг, быть может,
Мы с ним были только двое,
Потому и подружились
Скорой дружбою таежной.
У костра духмяной ночью
Мне рассказывал охотник,
Что зовут его Максимом,
Что из рода он Пассаров,
Из нанайского селенья,
Где отец его и братья
В рыболовстве и охоте
Жизнь суровую проводят.
Он рассказывал о крае,
Где текут такие реки,
Что коль вставишь в воду палку,
То она не пошатнется,
Крепко сжатая боками
Рыб, идущих косяками.
Он рассказывал с улыбкой
Об охоте на медведя —
Восемь шкур на жерди сохнут
У него в селенье Найхен.

Я спросил тогда Максима:
 — Ты медведя не боишься?
 — Нет, — ответил мне нанаец, —
 У тайги свои законы:
 Если зверь на поединке
 Голову мою расколет,
 Брат пойдет по следу зверя
 И его догонит пулей! —
 Я вспомнил эту встречу
 В крае Дальнего Восхода,
 Встречу с юношей Максимом,
 Меткоглазым и бесстрашным.
 Звезды яркие горели,
 Выпь болотная кричала,
 И на берег выбегала
 Темная волна Амура.

II

Лед прошел по рекам трижды
 С той поры. На нашу землю
 Враг ворвался, сея горе
 И пожаром полыхая.
 Я забыл Амур далекий
 И таежные прогулки.
 Между Волгою и Доном
 Мне пришлось с врагом
 сражаться.

По степям гуляла вьюга,
 Волком воя возле Волги.
 На врага мы шли облавой,
 Леденя и окружая.
 И однажды после боя
 Мы в землянке отдыхали,
 Валенки свои сушили
 У печурки раскаленной.
 Вдруг, откинув плащ-палатку,
 Возле нас возник бесшумно
 Маленький боец в шинели,
 В шапке из осенней белки.
 Он присел и улыбнулся.
 Пламя сразу озарило
 В узких щелочках живые,
 Меткие глаза нанайца.
 Командир полка сказал мне
 Горделиво: — Познакомься,
 Это наш искусный снайпер,
 Наш отважный комсомолец,
 И зовут его Максимом,
 А из рода он Пассаров,
 Из нанайского селенья,
 Где отец его и братья
 В рыболовстве и охоте

Жизнь суровую проводят. —
 Я ответил: — Мы знакомы. —
 И Пассар промолвил: — Точно! —
 И в глазах его раскосых
 Огонек мелькнул таежный.
 — Здравствуй, друг! Ты помнишь
 встречу

В крае Дальнего Восхода?
 Ты, ходивший на медведя,
 Как с другим воюешь зверем,
 Что пришел не из берлоги,
 А из города Берлина? —
 И нанаец мне ответил:
 — Я убил их двести двадцать,
 И, покуда жив, я буду
 Истреблять их беспощадно. —
 Расстегнул шинель нанаец,
 И на ватнике зеленом
 Я увидел орден славы —
 Красное увидел знамя.

III

Рано утром мы с Пассаром
 Поползли вперед. На склоне
 Узкий выдолблен окопчик
 Среде засохшего бурьяна.
 Здесь легли мы, наблюдая
 За равниной. Перед нами
 Грустная земля застыла,
 Белым саваном укрыта...
 Из далекого оврага
 Вырывался красный выстрел.
 Выл снаряд! И беспрестанно
 Щелкали в бессильной злобе
 Рядом пули разрывные.
 Мы лежали, говорили
 Про таежные закаты,
 Про амурские уловы
 И про лодку-оморочку.
 Я сказал Максиму: — Знаешь,
 По легендам и преданьям,
 Бог войны и бог охоты
 Был один у наших предков.
 — Нет, война, — Максим ответил, —
 На охоту не похожа:
 Зверя бил я добродушно,
 То был честный поединок,
 А теперь с врагом бесчестным,
 С волчьей стайей я сражаюсь,
 Новое узнав значенье
 Слова «зверь». Смотри, товарищ,
 Вон спускается с пригорка

Немец. Он меня не видит,
 Но ему давно уж пулю
 Приготовили уральцы.
 И в стволе моей винтовки
 Тахо дремлет гибель зверя. —
 Левый глаз нанаец сузил,
 Так что показалось, будто
 Он заснул. Но грянул выстрел,
 И опять открылись веки.
 И сказал Максим сурово:

— Это двести двадцать первый
 Кончил жизнь благополучно. —
 Так мы целый день сидели,
 Спрятаны в сухом бурьяне,
 Согреваясь водкой, шуткой,
 Скорой дружбою военной.
 Десять немцев проходили
 По открытому пригорку.
 Десять трупов на морозе,
 Руки разметав, застыли.
 — Хорошо, — сказал нанаец, —
 День сегодняшней, однако,
 У меня прошел недаром.
 А теперь пойдем в землянку.
 Должен я письмом отправить
 Девушке своей любимой,
 Что живет у нас в селенье,
 Обучая в новой школе
 Маленьких детей раскосых.
 Я люблю ее так сильно,
 Что мне кажется порою —
 Эта сила заряжает
 Меткую мою винтовку. —
 У копилки, сотворенной
 Из снарядного стакана,
 Медленно писал нанаец
 Письмецо своей любимой.

IV

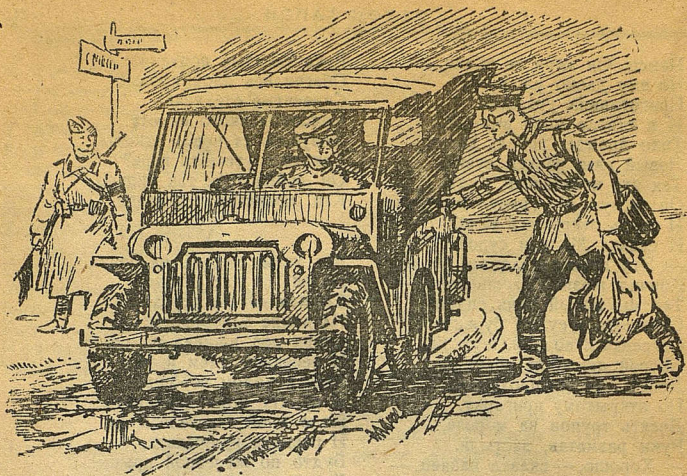
В январе прошла по фронту
 Весть жестокая: убили
 Немцы снайпера Максима,
 Знаменитого Пассара.
 Меткие глаза закрылись,

Руки твердые повисли,
 Обагрились алой кровью
 Синеватые странички
 Комсомольского билета.
 Девушка из новой школы,
 Как твое утешить горе?
 Он любил тебя так сильно,
 Как фашистов ненавидел.

V

Мы ушли вперед, на Запад.
 Далека от нас сегодня
 Свежая могила друга.
 На земле освобожденной
 Снова лед прошел по рекам.
 И весенним днем прозрачным
 Шел я ходом сообщения
 К пункту командира роты;
 Надо мной свистели пули,
 И равнина громычала,
 Будто по железной крыше
 Ходят в сапогах тяжелых.
 Здесь увидел я сержанта
 С вороненым автоматом.
 Этот воин смуглоскулый
 Показался мне знакомым.
 — Ты нанаец? — Да, нанаец.
 — Как зовут тебя? — Пассаром,
 Иннокентием. Я родом
 С дальних берегов Амура.
 — Ты давно уже на фронте?
 — Нет, недавно. С той минуты,
 Как узнал о смерти брата,
 Меткоглазого Максима.
 Я ведь тоже комсомолец
 И ружьем владею с детства. —
 ...Я припомнил Край Восхода,
 Встречу с маленьким нанайцем
 И его рассказ короткий
 Про закон тайги суровый:
 «Если зверь на поединке
 Голову мою расколет,
 Брат пойдет по следу зверя
 И его догонит пулей».





Лев Славин

УРАЛЕЦ

Случалось ли вам проезжать заставы на военной дороге?

Ближе к фронту, где только что прошли бои, они выглядят попроще. Вместо пестрых щегольских шлагбаумов — свежееобструганные бревна. Вместо нарядных комендатур — наскоро сплетенные шалашики. Мало дорожных знаков, и не успели еще встать на обочинах агитплакаты, начертанные грубой и вдохновенной кистью художников автодорожной службы.

Но регулировщики здесь так же четки и учтиво строги. А оживления тут, пожалуй, побольше, чем на тыловых заставах. Много людей сидит на зеленых откосах дороги, дожидаясь попутной машины. В тыл едут интенданты, обремененные вечными своими заботами о гигантском чреве армии, офицеры, переведенные в другую часть, да легко раненные, следующие оказией в полевой госпиталь. Через дорогу сидят те, кто возвращается на фронт из побывки либо командировки. Среди них вы обязательно увидите несколько старух с остатками своего добра: цветным лоскутным одеялом, керосиновой лампой без стекла и козой на веревке. Старухи пробираются в родные деревни, только что освобожденные от немца. Лица у них исплаканные и радостно растерянные. Ободранная коза с жеманными ухватками щиплет пыльную траву.

Весь этот народ путешествует способом, который на военных дорогах называется «голосование» — слово, родившееся из жеста, каким пешеход поднимает руку, чтобы остановить машину.

Дежурный по заставе, посмотрев мои документы, сказал:

— Не захватите ли одного офицера? Ему туда же...

Через минуту дюжий гвардеец с мешком в руке, побряхтывая, влезал в мою машину.

— Ох, нога моя, ноженька! — пробормотал он.

Этот густой ворчливый бас показался мне знакомым. Я оглянулся и, увидев комбинацию из седых волос, молодого лица, вздернутого носа и круглых очков, воскликнул:

— Денис Черторогов!

— Я, — сказал он и крепко пожал мне руку.

— Так, значит, вы... — вскричал я и в смущении замолк.

— Нет, не помер, — прогудел он ободряюще.

Погоны на нем были не красноармейские, как когда-то под Синявым, а лейтенантские. На груди блестели два ордена. В остальном он не переменялся. Та же повелительная плавность движений. Та же величавая замкнутость лица. И посреди ослепительного волчьего оскала та же темная пустотка на месте зуба, вышибленного некогда кулачным приемом, который у них на Урале называется «салазки».

— Кто же вы теперь?

— Дезертир, — сказал он и засмеялся. — Дезертир в обратную сторону.

— Сбежали из госпиталя на передовые?

— Точно. Да что вы так смотрите на меня? Все не верится, что я жив? И то сказать, денек был...

До сих пор у меня в ушах стоит погребальный звон лопат, которыми рыли братскую могилу в промерзшей земле Ладожского побережья. То было в незабвенные дни прорыва ленинградской блокады. На краю могилы лежало длинное тело Черторогова. Да, видно, правду говорят, что на войне не только умирают, но и воскресают.

Я помню и утро того дня, смутный январский рассвет. К штабу батальона подошло пополнение новобранцев. Неподалеку кипел бой за обладание рабочим поселком № 5. Пушки Волховского фронта не умолкая били по кольцу немецких укреплений. За шестнадцать месяцев осады немцы довели их до мощи верденских фортов. Новобранцы оторопело смотрели на пылающий горизонт. У иных волнение проявлялось напряженным старанием казаться спокойными. И только один из всех выделялся своей естественной невозмутимостью. Это был Денис Черторогов, высокий седоволосый юноша. Крепкие скулы, надменная линия рта, немигающие глаза в черных кругах очков придавали ему общее сходство с большой сильной птицей.

Он оказался не из разговорчивых. С высоты своего роста он снисходительно и даже словно бы лениво озирал окружающее. С трудом ребятам выжали из него несколько слов, из которых явствовало, что седым его мать родила, а глаза он себе испортил сам (или, как он выразился, «собственноручно») неумеренным чтением в университете. Он коротко добавил, что он астроном. На ногах у него были фиолетовые обмотки, доходившие только до икр. Из левой обмотки торчала деревянная обкусанная ложка. Выше шли ватные штаны, усеянные аккуратными заплатками. Стоял мороз, но молодцу, видимо, не было холодно. Взлохмаченная ушанка его была сдвинута на затылок. Да, порядочно

пришлось бы пошарить на земле в поисках еще одного астронома с такой малоакадемической наружностью.

Есть в предгорьях Урала соленое озеро Шаркал, которое там называют: Шаркальское морцб. На северном берегу его стоит село Черемшаново.

Жители его издревле мастера в разных видах охоты: рыболовы, медвежатники, поимщики диких оленей. Все это народ видный, косая сажень в плечах, могучая грудная клетка, сапоги номер сорок пять.

Из рода в род переходят здесь телесная мощь, сдержанность в речи, угрюмый блеск чуть раскосых глаз и особая чисто уральская гордость. Подобно куперовским индейцам, исконные черемшановцы почитают непристойным для взрослого мужчины чему-либо удивляться. Излюбленное выражение их в чрезвычайных случаях жизни: «А что ж тут особенного?», сопровождаемое пренебрежительным пожатием плечами.

Наскучив охотой, утомительным зимним багреньем осетра, пятнадцатилетний Денис ушел в артель, промышлявшую обжигом угля. В характере Дениса была живость, которую, впрочем, можно было обнаружить только на фоне его медлительных земляков. Среди предков Дениса была полька, дочь ссыльного повстанца 1863 года. Она вышла замуж за Вениамина Черторогова, прадеда Дениса. Польская кровинка одарила Дениса птичьим складом лица и припадками мечтательности. Артельщики жили в лесу почти круглый год. Угледожение — тонкое искусство, приемы его составляют наследственную тайну нескольких черемшановских семей. Уголь этот очень ценится на металлургических заводах и идет на выплавку высоких сортов стали. Для мальчишки с воображением жизнь вокруг неугасимых костров («куч», как их там называют) была полна пронзительной поэзии. Звезды сквозь ветви кедров светили Денису с заманчивой силой. Он отметил три алмаза Ориона. Ему хотелось знать, как их зовут. Раз в полгода двое выборных от артели приходят в город получать зарплату для всей ватаги. Как и старатели, они получают ее в золоте. Накупивши соли, муки, сала, водки, табаку и сахара, они снова на полгода исчезают в леса.

Среди этих выборных однажды случилось быть юному Денису. Он не вернулся в лес. Он остался в городе учиться.

Черемшановцы — народ основательный, с устойчивыми нравами. До сих пор много старых слов сохранилось в их живом языке, вроде «топерва», «втуне» или «вертоград». Черемшановца и на слух узнаешь по вопросительному напеву его речи, по неизгладимому его «чо» вместо «что» и т. п. А наглаз не спутаешь черемшановца ни с кем из-за его молчаливой и плавной невозмутимости.

При всем том к 1941 году село Черемшаново дало стране семь инженеров, пять геологов, пять врачей, одного астронома и одного специалиста по романской поэзии первой половины Средневековья. В селе появились рыбный техникум, два кинематографа, краеведческий музей и очень недурная библиотека. Одновременно там происходили традиционные «стенки». Бились крепко, строго соблюдая при этом рыцарские правила: «лежащего не бьют» и «драться до первой крови». Среди кулачных бойцов можно было увидеть инженеров, геологов, врачей, астронома и специалиста по романской поэзии первой половины Средневековья, приезжавших ежегодно домой на отдых. Кончалась «стенка», бойцы обеих сторон, все эти Брыкалины, Чулошниковы, Недюжины, Неплюевы, Ступишины, Череповы, Наровчатовы, Шелудяковы, Чертороговы и Обер-

нибесовы, припудрив синяки и повязав галстуки, собирались в колхозном клубе и до полночи танцевали и чинно резались в домино.

Когда началась Отечественная война, черемшановцы пошли в армию. Большинство их сделали разведчиками и вскоре отличились, проявив в боях особый род уральского угрюмого азарта. Тот, кто видел в боях за Москву полки, составленные из уральцев, никогда не забудет молчаливой свирепости, с какой они шли в атаку и на штурмы. Их родичи, оставшиеся в тылу, перекачали свое яростное усердие в литье пушек и обточку снарядов. А ведь по первому взгляду уралец может и не понравиться сумрачным стилем своего обхождения. Так было и с Денисом Чертогоровым.

Ротные ветераны признали, что для молодого бойца у Дениса слишком самоуверенные ухватки. Бывалые бойцы наставляли его: дескать, плащ-палатку нужно заправлять так, а не этак, а запалы для гранат лучше бы держать в сумке, а не в кармане посреди ключей, рыболовных крючков и складных подзорных труб. Денис исполнял указанное быстро и точно, но с таким раздражающе независимым видом, словно он и сам все это раньше знал, хотя на самом деле, как многие молодые бойцы, то и дело ошибался в мелочах солдатского распорядка.

На фронте час на час не похож. Накануне было довольно тихо. А первый день новобранца Чертогорова оказался шумным. Война ему выдала все сразу полной мерой. Только прибыв в часть, он тут же попал под бомбежку.

Все попрыгали в щели. Сыпалась земля, черный дым полз над головой, кричали в тумане раненые. Старослужащий Игнатий Некрасов взял Дениса за руку и сказал ласково:

— Страшновато с непривычки?

Новобранец чуть пожал плечами и пробасил лениво и высокомерно:

— А что ж тут особенного?

Некрасов отвернулся. Его покорило фанфаронство перед лицом смерти.

После бомбежки новобранцев распределили по ротам. Денис попал в отделение Некрасова. Собрав своих, Некрасов повел их во взвод через рощу, сильно посеченную снарядами. Люди скользили по наледи. В воздухе стояла морозная испарина. За холмом горело.

— То горит поселок номер пять, — объяснил Некрасов.

— А там немцы? — спросил кто-то.

— Немцы покуда, — сказал Некрасов.

— Холодно, — сказал тот же боец и подул на озябшие пальцы.

— Через часок двинем на штурм поселка, тогда согреешься, милый, — сказал Некрасов.

Все засмеялись.

К полудню в роту явились два разведчика с Ленинградского фронта. Они пробрались сюда сквозь немецкие расположения. Оба краснофлотцы. Один маленький, бойкий, другой высокий, с вялым лицом. Он все время грыз сухари. Все окружили ребят из легендарных ленинградских дивизий.

— Мы думали, что вы дальше. Молодцы волховцы, хорошо иде-те! — сказал бойкий разведчик.

Он сообщил, что ленинградцы тоже продвинулись за ночь. Оба фронта действовали, как прессы, между которыми постепенно сплющивался пояс немецкой осады. Начались расспросы. Среди бойцов были

ленинградцы. Они интересовались, как выглядит Ленинград и что в нем разрушено. Бойкий краснофлотец обстоятельно отвечал.

— А как Пулковская обсерватория? — спросил Черторогов.

Это был его первый вопрос за весь день.

— Разрушена, — сказал маленький бойкий разведчик, — всю как есть целиком гады разрушили. Инструменты, правда, были эвакуированы. Спасены инструменты.

— А библиотека?

— Сгорела, — уверенно сказал бойкий, видимо довольный тем, что может давать такие точные ответы, — вся как есть сгорела.

— Сгорела? — воскликнул Черторогов. — Какое несчастье!

Разведчик удивленно посмотрел на этого долговязого новобранца в фиолетовых обмотках и в очках.

— Он астроном, — объяснил кто-то из бойцов, — работает, стало быть, по звездам.

— Сгорела, товарищ астроном, — повторил бойкий разведчик, — я как раз хорошо это знаю, потому что у нас в роте был один парень с самого Пулкова, немолодой уже, Семенихиным его звать. Помнишь, Гаврила?

Второй разведчик вяло кивнул головой.

— Так этот Семенихин, — продолжал бойкий, — так рассерчал на фрицев за ту библиотеку, что пошел в армию добровольцем. Он говорил, что та библиотека была самая большая во всем мире и все, что где когда печатали про звезды, в той библиотеке имелось, все как есть. Не знаю, правда это или нет, товарищ?

Черторогов молча кивнул головой.

— Люто дрался тот Семенихин, — сказал бойкий разведчик, качая головой, — ой, люто, прямо зверь был. А возраст имел преклонный, все сорок.

— А где ж он? — спросил Черторогов.

— Погиб, товарищ астроном, — ответил бойкий разведчик и неожиданно рассмеялся.

— Нет, это я так, — сказал он, — просто вспомнил про Семенихина, как он заплевал немцев. Помнишь, Гаврила?

— Он в плен попал, — вдруг сказал высокий разведчик хриплым, словно одичавшим от молчания голосом, — а фрицовский офицер дознался, кто он есть, и сказал: «Подвесить астронома поближе к звездам». Гад такой! Линеikin, у тебя, кажется, еще сухари есть?

— Как же, есть, — сказал бойкий и вынул из мешка сухари. — Сухарь вкусный, только он промокший, в болоте пришлось лежать, подпортились сухарики все как есть. Товарищи, может кто хочет, прошу. В поле и жук мясо.

— Так что же с ним? — нетерпеливо крикнул Черторогов.

— С кем? — сказал бойкий. — А, с астрономом. Так он, значит, уже в петле был, а все обкладывал фрицев прямо в глаза самыми последними словами. И мало того — плевался им в рожи. Красота была смотреть! Мы после это село заняли, так нам жители рассказали. Исплевал фрицев всех как есть, пока не кончился в петле. Отчаянный был парень тот астроном.

Он поглядел на Черторогова и сказал:

— А что же вы без каски, молодой человек?

— На поле боя достанет, — сказал Некрасов и посмотрел на Дениса.

— Можно и так, — согласился Линейкин. — Хлопотно немного, зато выбор богатый, по мерке подберете.

Он засмеялся. Лицо Дениса оставалось невозмутимым.

Разведчиков позвали к командиру роты. Уходя, бойкий сказал, кивнув в сторону Черторогова:

— Добрый будет солдат, я вам говорю. Я, если хотите знать, назначал бы астрономов прямо в штурмовые группы. Ох, и лихой же народ те астрономы...

В тот же день Черторогов попал в боевое охранение. Неглубокие окопы виднелись зигзагом посреди торфяных болот. В самую сильную стужу эти густые грязи не замерзали. Легкий пар подымался над ними. Сырой мороз пронимал до костей. Внезапно немцы открыли артогонь. Окопы были только что отрыты, блиндажей не было. Подражая другим, Денис вдавил свое большое тело в переднюю стенку окопа, откуда немедленно начала сочиться черная грязь. Там, где падали снаряды, вставали высокие фонтаны, смесь грязи и огня. Можно было не видеть их, закрыть глаза. Не слышать их нельзя было, даже если зажать уши мехом шапки, а сверху надавить кулаками изо всей силы. Все равно громовые разрывы проходили сквозь стенки черепа, такие, оказывается, тонкие. Думать можно было только об одном: куда упадет следующий снаряд. Вскоре это потеряло смысл, потому что снаряды падали помногу одновременно и впереди и сзади, со всех сторон.

Игнатий Некрасов потянул за рукав Черторогова. Новобранец повернул к нему лицо, бледность которого можно было заметить даже сквозь облепившую его грязь. Некрасов обнял Дениса за плечи и сказал:

— Ну, как тебе, парнишка? Дома на печи спокойней?

Стопятимиллиметровый снаряд ударил за низким бруствером. С жаром, грязью и свистом разлетелись рваные куски раскаленного железа. Оба бойца еще глубже вдавились в свое жидко-ледяное ложе. И, не вставая, Некрасов услышал прерывающийся, но упрямый голос Черторогова:

— А что ж тут особенного!

Вместе со всеми Черторогов побежал в атаку. Это был четвертый час пребывания новобранца на фронте. Он еще мало что понимал. Он не понимал, куда бегут, и чьи снаряды летят над головой, и зачем взлетают ракеты. Ему, правда, все это объяснили, но от необычности обстановки объяснения вылетели у него из головы. Он бежал, как и все, вперед и видел перед собой знакомый затылок Игнатия Некрасова с резкими солдатскими складками и больше всего боялся оторваться от этого затылка. На ходу он перепрыгивал через какие-то рельсы. Его удивило, что пути такие узкие, — он перемахивал их без труда, не ушибая шага. Потом он сообразил, что это узкоколейки. Они шли во все стороны. Местами рельс не было, одни насыпи. Под какой-то насыпью Денис столкнулся с немцем. Он понял, что это немец по тому, что тот кинулся на него. Денис свалил немца и не стал задерживаться, боясь упустить затылок Некрасова. На бегу он поправлял очки, сползавшие на нос, и все бежал вперед сквозь остатки домов, сквозь разваленные кучи торфа, сквозь строй печных труб, бесстыдно обнаженных.

Зная, что в атаке надо кричать «ура», Денис кричал «ура». Он не заметил того, что сейчас все лежат и что он сам лежит, и лежа продолжал одиноким голосом кричать «ура», покуда чья-то черная рука, пахнувшая сыростью и порохом, не зажала ему рот. Он узнал Игнатия.

Потом опять побежали вперед. Краснофлотцы Линейкин и высокий Гаврила тоже бежали среди бойцов. В руке у Дениса оказалась записка, посланная политруком по цепи. В записке было сказано, что их рота геройским штурмом ворвалась в рабочий поселок и сейчас гонит немцев дальше. Только сейчас Денис вспомнил, что немец, с которым он прежде столкнулся, укусил его в руку. Он оглянулся, чтоб увидеть насыпь, где упал немец. Но она была уже заслонена шеренгой опрокинутых вагонеток. Денис посмотрел на свой штык. Штык был в крови. Кровь успела заledenеть красными сосульками. Денис заметил, что стало трудней бежать. Он понял, что бегут в гору, и увидел недалеко продолговатый холм и развалины на вершине. Он разом вспомнил объяснения политрука перед атакой. С холма стреляли. Видны были дырки немецких блиндажей, более светлые, чем окружающая их земля. Политрук объяснял, что развалины на холме надо взять.

Некрасов, бежавший попрежнему впереди, вдруг нагнулся и снял каску с бойца, упавшего на землю. Потом он приблизился к Денису, снял с него ушанку и напялил каску. А ушанку сунул ему за пояс.

— Шапку-то не потеряй, — пробормотал он при этом.

Холодный металл жег Денису голову. Он вынул платок и сунул его под каску.

Как и другие, Денис прыгнул вниз, в траншею. Она была много глубже нашей. И тут между ее высокими, обитыми дранкой стенами Денис увидел своего второго немца. Прямо перед собой. У немца под каской тоже был платок, завязанный по-бабьи под подбородком. Немец кинулся на Дениса и ударом приклада вышиб у него из рук винтовку. Денис бросился на землю и в эту секунду услышал над собой выстрел. Немец перешагнул через Дениса и побежал дальше. Видимо, он посчитал Дениса убитым. Денис поднялся, взял винтовку и пошел в другую сторону по узкому земляному коридору. Коридор делал повороты и часто пересекался другими коридорами.

Из-за угла доносились крики и выстрелы, а здесь было тихо, безлюдно. Денис присел на корточки, снял очки и принялся протирать их — они были сильно залеплены грязью и мешали смотреть. Он протянул изнеможенные ноги и в первый раз за весь день сладостно распустил мускулы. Это продолжалось минуты две, не более. Но никогда в жизни он не отдыхал так полно и хорошо, как сейчас, на этом окровавленном клочке земли под стоны и взрывы из-за угла.

Поймав себя на том, что он намеренно долго протирает очки, он резко поднялся и побежал за угол. Там все было кончено. Дымился взорванный блиндаж. Бойцы вылезали из траншеи. Вместе с другими вылез наружу и Денис.

Казалось, все немцы прогнаны. Внезапно сбоку ударили пулеметы. Несколько бойцов упало. Остальные залегли. Стрелял дзот, дотеле не замеченный. Едва кто приподымался, как снова начинало хлестать из дзота. Так шло время в бездействии. Темнело. В январе день короткий. Первые звезды вышли на небо. А наши все лежали. И каждый понимал, что это было гибельно для общего продвижения на участке.

Вдруг лежащие увидели фигуру. Одиноким боец, согнувшись, зигзагами бежал к дзоту. Ложился иногда. Вставал, бежал. Снова ложился, полз. Снова бежал в рост. Узнали в нем этого новобранца Черторогова, его длинные ноги в фиолетовых обмотках, его очки, платок под каской. Жутко было смотреть, как он бежит навстречу пулям. Но он все бежал, прикрытый легкой непрошибимой броней своего счастья.



Жутко было смотреть, как он бежит навстречу пулям.

В нескольких шагах от дзота он припал к земле и пополз. Потом вскочил, трижды метнул в амбразуру гранаты и рухнул.

Дзот замолчал. Все вскочили и побежали вперед.

Денис, изорванный пулями, лежал подле зажженного им дзота. Глаза его были закрыты, но он был жив и слышал топот и крики. Сильно болело в груди. «Я еще не умер», подумал он. Он попытался крикнуть, позвать к себе. Но у него нехватило сил, чтобы крикнуть, а только стало еще больней в груди. Ему хотелось открыть глаза, но он боялся, что от этого усилия он умрет. Все же, крепко напрягшись, он открыл глаза.

Он увидел небо. Три алмаза Ориона светились над ним. А, старые друзья пришли проведать его! Он приветственно махнул им ресницами. И звезды махнули ему ресницами. Слезы нежности потекли по лицу Дениса, засыпанному осколками очков. Он видел на небе знакомые дорожки, закоулки. Ему казалось, что он отбил у немцев не землю, а небо, вот это низкое доброе небо своего детства. Немцы, мамыи окаянные, захватили его, а он их оттуда вышиб, из своего родного неба. А приятели-звезды, три блестящих молодца Ориона, спускались все ниже, перемигиваясь и шепча: «Да, это он, наш парнишка из лесу». Просто удивительно, до чего звезды могут стать большими, прямо как головы!

Да это и впрямь головы. Вот усатый Игнатий Некрасов, и Линейкин, и сонный Гаврила, и много других ребят. Убедившись, что это люди, а не звезды, Черторогов напряг все живое и сильное, что еще оставалось в его теле, чтобы натянуть выражение невозмутимости на свое жалкое окровавленное лицо. От усилия он издал стон.

Товарищам показалось, что он просит их о чем-то. Они наперебой спрашивали:

— Тебе воды, Черторогов?

— Может, тебе лежать неловко? Может, повернуть тебя?

— Оставьте его, — сказал Игнатий Некрасов, — ему уж ничего не нужно.

Он утер глаза кулаком и сказал, усиливая голос, как бы желая пробиться сквозь бесчувственность Дениса:

— Черторогов, милый ты мой! Если ты меня слышишь, то знай, что мы все тут стоим возле тебя, весь третий взвод. И знай, что ты наш дорогой герой и мы все гордимся тобой, что ты не пожалел своей молодой жизни для родины...

Денис шевельнулся. Все умолкли, и в тишине пронесся предсмертный шопот Дениса:

— А... что ж... тут... особен...

Он не закончил, вытянулся и затих.

Бойцы переглянулись и стащили с голов каски. А Линейкин сказал:

— Отчаянный парень. Что говорить, настоящий астроном! Жалко его. Ну да что ж, ни моря без воды, ни войны без крови.

Они положили Черторогова на шинель и, шагая в ногу, понесли его к могиле.

Там я и видел его в последний раз. Это был пятый час пребывания Дениса на фронте. Невдалеке под холмом радостно обнимались бойцы Волховского и Ленинградского фронтов, наконец соединившиеся. Осада была пробита. Я поехал вперед, не дождавшись погребения Черторогова...

...А вот сейчас он сидит вместе со мной в машине, рассказывает обо всем этом своим ровно гудящим басом:

— Закваска у меня все же уральская. Как стали тащить в землю, так я застался. Ну, стало быть, отставить могилу и — в медсанбат. Дырок на мне много, а в общем, все несмертельные. Заштопали меня в госпитале, и, в общем, я сделался такой же, как был, целый, гладкий. Только стал поразговорчивей. Должно быть, через эти дырки маленько выпарилась моя диковатость. Вернулся, стало быть, в строй. Ну, и вырос на работе, как видите. Бывал после этого во всяких переделках. Но никогда не забуду того дня, как шел к дзоту под пулями. Особое ощущение, знаете. К тому же был необстрелянный. Первый день все же...

— А вы понимали тогда, что совершаете подвиг?

— Умом-то я понимал. Но мне было страшно. А я полагал в ту пору, что настоящему герою не должно быть страшно. Так что я чувствовал себя вроде как самозванцем, который обманным образом втерся в славную страну подвигів, понимаете?

— А по вас не было видно, что вам страшно. У вас, помнится, был такой спокойный и даже небрежный вид.

— Гордость. Страх страха сильней, чем страх смерти. Уральская гордость. Эге, да мы скоро приедем!

Мы свернули в лес и поехали по деревянному настилу, так называемой «лежневке». Машина прыгала на бревнах. Черторогов морщился. Видно, давала чувствовать себя недолеченная нога. Но он не жаловался и только один раз при сильном толчке прошипел сквозь зубы:

— Рвань дорога...

Я предложил поехать тише.

— Нет, нет, — запротестовал он, — я так спешу. Сегодня ко мне прибывает пополнение, почему я и ушел до времени из госпиталя. Наступаем во-всю, а новобранцев, знаете, надо по-особому вводить в бой. От этого многое зависит. По себе знаю. Так что, пожалуйста, давайте поскорей. Я вас за это шоколадом угощу. У меня из госпиталя...

Он полез в мешок и принялся опорожнять его. Я увидел имущество солдата и ученого: кинжал в ножнах из плексиглаза, звездный каталог, портянки, две ручные гранаты типа «Ф-1», а попросту говоря, «лимонки», таблицу лунных затмений, зубную щетку, «Краткий курс ВКП(б)» и томик Плутарха.

Дорога петлила. Деревья сближались все тесней. Сильно пахло нагретой хвоей. Наконец Черторогов крикнул:

— Стоп! Приехали. Товарищ водитель, машину сюда, под навес. А то он, гад, летает тут, высматривает.

Черторогов быстро шагал по тропинке, слегка хромая. Часовой, стоявший под деревом с винтовкой у ноги, приветствовал нас по-ефрейторски.

— Здорово, Кашкин, — сказал Черторогов. — Что, пополнение прибыло?

— Прибыло только что, товарищ лейтенант. Поздравляю с выздоровлением, товарищ лейтенант, — сказал часовой, улыбаясь, но не меняя своей brave стойки, и во всем его существе было то неподражаемое соединение душевности и дисциплины, которым не устаешь любоваться в людях Красной армии.

Мы углубились в лес. Звуки артиллерии были явственны. Где-то ворчали «катюши». Послышался ноющий звук немецкого разведчика. Черторогов обеспокоенно поднял голову. Из-за леса показался «Хейнкель-126». И мы увидели, как от разлапистого тела его отвалились бомбы, маленькие черные точки. Черторогов выругался.

— Щель справа за вами, товарищ лейтенант! — крикнул издали часовой.

Мы спустились в щель. Нас обдало пряной вонью сорных трав. Мы услышали разрывы фугасок и треск падающих деревьев. Двинувшийся воздух качнул нас. «Хейнкель» щупал лес. Кто-то кашлянул над нами. Мы подняли головы. Вверху стоял боец, рослый юноша, прислонившись к коренастому спокойному дубу. Он откозырял нам, смотря сверху вниз. Быть может, от этого мне почудилась в его глазах тень насмешки. Свободный пояс, чрезмерно вылезавший воротничок и общая нефронтальная развинченность выдавали в нем новобранца.

— Почему не укрываетесь, товарищ? Марш в щель! — сердито крикнул Черторогов.

Юноша неспешно спустился в щель.

— Как зовут? — резко сказал Черторогов.

— Диомид Пьянов, — хмуро сказал юноша.

— Из каких мест?..

Ответа мы не услышали. Страшный и близкий грохот потряс лес. Толстый дуб, под которым только что стоял новобранец, треснул и переломился, как спичка.

— Видал? — строго сказал Черторогов. — Это, должно быть, твоя первая бомбежка?

Диомид Пьянов повернул свое немного побледневшее лицо и сухо сказал:

— А что ж тут особенного?

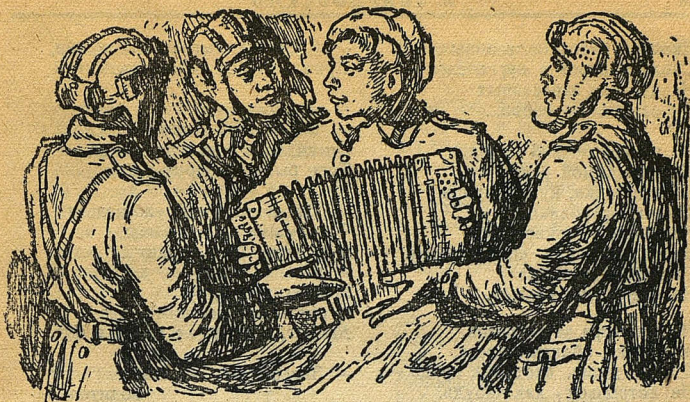
— Ого! — вскричал Черторогов и пристально взгляделся в новобранца.

Тот чуть пожал плечами.

— Скажите пожалуйста, какой герой! — пробормотал Черторогов, не спуская с юноши взгляда, в котором странно смешались гнев и нежность.

Я тоже посмотрел на новобранца и по его могучим рукам, спокойно сложенным на просторной груди, по надменному хладнокровию скуластого лица, по угрюмому блеску отваги в узких глазах я тотчас узнал бессмертную и неукротимую породу уральских гордецов.





А. Твардовский

ГАРМОНЬ

По дороге прифронтовой,
Запоясан, как в строю,
Шел боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.

Шел легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою, рукой.
Отлежался. Да к тому же
Шелкал по лесу мороз,
Защемлял в пути все туже,
Подгонял, подмышки нес.

Вдруг — сигнал за поворотом.
Дверцу выбросил шофёр,
Тормозит:
— Садись, пехота,
Щеки снегом бы натер.
Далеко ль?
— На фронт обратно.
— Руку вылечил?

— Понятно.
— Не герой?
— Покамест нет.
— Доставай тогда кiset.

Курят, едут. Гроб-дорога.
Меж сугробами — туннель.
Чуть ли что, свернешь немного,
Как свернул, снимай шинель.
— Хорошо, как есть лопата.
— Хорошо, а то беда,
— Хорошо — свои ребята.
— Хорошо. Да как когда...

Грузовик гремит трехтонный.
Вдруг колонна впереди.
Будь бы пеший или конный,
А с машиной — стой и жди.
С толком пользуйся стоянкой.
Разговор — не разговор.
Наклонился над баранкой,
Смолк шофёр.
Заснул шофёр.

Сколько суток полусонных,
Сколько верст в пурге слепой
На дорогах занесенных
Он оставил за собой...

От глухой лесной опушки
До невидимой реки
Встали танки, кухни, пушки,
Тягачи, грузовики.
Легковые — криво, косо,
В ряд, не в ряд, вперед-назад.
Гусеницы и колеса
На снегу еще визжат.

На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
Дует в душу, входит в грудь —
Не дотронься как-нибудь.
— Вот беда! Во всей колонне
Заваливающей нет гармонии,
А мороз — ни стать, ни сесть...

Снял перчатки, трет ладони,
Слышит вдруг:
— Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,
Впеременку — пляс не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги прозапас.

— У кого гармонь, ребята?
— Да она-то здесь, браток, —
Оглянувшись виновато
На водителя стрелок.

— Так сыграть бы на дорожку?
— Да, сыграть оно б не вред.
— В чем же дело? Чья

гармошка?
— Чья была, того, брат, нет.

И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
— Командир наш был любитель...
Схоронили мы его.

— Так... —
С неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг, —
Словно он кого ошибкой,
Нехотя обидел вдруг.
Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь:

— Я считал, сыграть-то можно,
Думал, что ж ее беречь.

А стрелок:
— Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем...
Трое были мы друзья.

— Да нельзя, так уж нельзя.
Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну...
И ранение имею
И контузию одну.
И опять же, посудите,
Может, завтра — с места в бой!

— Знаешь что, — сказал
водитель, —
Ну, сыграй ты, шут с тобой!

Только взял боец трехрядку,
Сразу видно — гармонист.
Для начала, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
Что-то медленно по слуху
Подбирал, как будто лень,
На гармонь склонившись ухом,
Шапку сдвинув набекрень.

И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.
От машин заиндевелых
Шел народ, как на огонь.
И кому какое дело —
Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,
Тот водитель и стрелок,
Все глядят на гармониста —
Словно что-то невдомек.
Что-то чудится ребятам,
В снежной крутится пыли.
Будто виделись когда-то,
Словно где-то подвезли...

И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Вдруг повел о трех танкистах,
Трех товарищах рассказ.
Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся?

И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.

А боец зовет куда-то,
Далеко, легко ведет.
— Ах, какой вы все, ребята,
Молодой еще народ!
Я не так еще сыграл бы, —
Про себя поберегу,
Я не так еще сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу.
Я забылся на минутку,
Заигрался на ходу,
И давайте я на шутку
Это все переведу.

Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.

— Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.

— Отморозил парень пальцы,
Надо помощь скорую.

— Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом
И как будто ту трехрядку
Повернул другим концом.

И забыто — не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.
И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены притти, до дому, —
Где жена и где тот дом!
Плясуны на пару пара
С места кинулись вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.

— Веселей кружитесь, дамы,
На носки не наступать!

И бежит шофёр тот самый,
Опасаясь опоздать.
Чей кормилец, чей поилец,
Где пришелся ко двору?

Крикнул так, что расступились:
— Дайте мне, а то помру!

И пошел, пошел работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.
Словно в праздник на вечорке
Половицы гнёт в избе,
Прибаутки, поговорки
Сыплет под ноги себе.
Подает за штукой штуку:

— Эх, жаль, что нету стуку,
Эх, друг,
Кабы стук,
Кабы вдруг —
Мощеный круг!
Кабы валенки отбросить,
Подковаться на каблук,
Припечатать так, чтоб сразу
Каблуку тому — каюк!

А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет.
Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ!

Хоть бы что ребятам этим,
С места — в воду и в огонь.
Все, что может быть на свете,
Хоть бы что — гудит гармонь.
Выговаривает чисто,
До души доносит звук.

И сказали два танкиста
Гармонисту:

— Знаешь, друг'...
Не знакомы ль мы с тобою,
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в санбат?
Вся в крови была одежда,
И просил ты пить да пить... —

Приглушил гармонь:

— Ну что же,
Очень даже может быть.

— Нам теперь стоять в ремонте,
У тебя маршрут иной.

— Это точно!

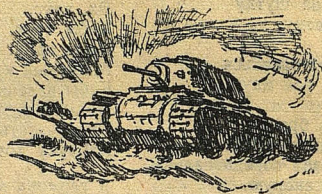
— А гармонь-то,
Знаешь что, бери с собой.

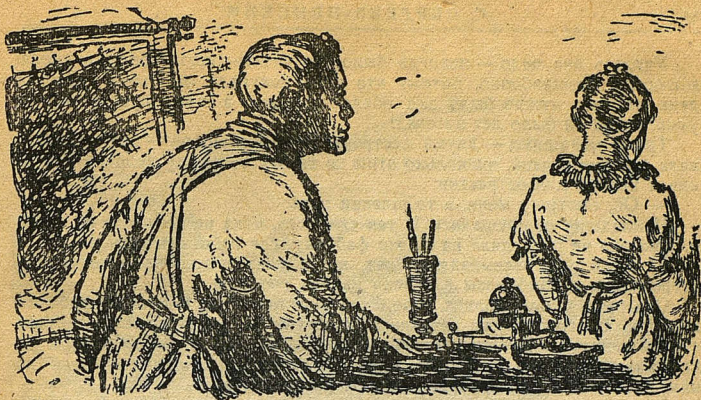
Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Весели свою пехоту...
— Что вы, хлопцы, как же так?

— Ничего, — сказал водитель, —
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это — память про него...

И с опушки отдаленной,
Из-за тысячи колес,
Из конца в конец колонны:
— По машинам! — донеслось.

И опять — увалы, взгорки,
Снег да елки с двух сторон.
Едет дальше Вася Тёркин —
Это был, конечно, он...





С. Сергеев-Ценский

ХИТРАЯ ДЕВЧОНКА

Глаза у нее были светлые, смелые, а взгляд быстрый, короткий, сразу дающий оценку, — это отмечал в ней всякий, кто в первый раз ее видел.

Ростом она вышла невелика — плохо питалась в детстве, — но любила говорить о себе поговоркой: «Птичка — невеличка, да коготок востер». Небольшое легкое тело ее было ловкое, верткое, хотя и без суетливых лишних движений. Во время сложной домашней работы тонкие детские руки ее мелькали здесь и там, как бы не делая никаких усилий, однако все бывало сделано как надо и в срок или даже гораздо раньше.

Быстрый взгляд ее светлых глаз не пропускал при этом ничего, что делалось кругом, а очень чуткий слух ловил все звуки. Так, деятельно помогая матери в семье, где она была старшей из четырех ребятишек, она в то же время знала все и обо всех в целом доме, где было порядочно квартир.

Мать ее работала ткачихой, уходила на фабрику утром, приходила к вечеру усталая, а ее двенадцатилетняя старшенькая Зина мало того что кормила ее приготовленным без нее обедом, но еще и успевала при этом передать кучу разных новостей о жильцах дома, соседях.

— Ух, и хитрая же ты у меня девчонка растешь! — сказала как-то мать Зине, глядя ее русые волосы, заплетенные в две косички.

— О-о, а как же! Я очень даже хитрая, мама! — тут же и радостно отсвечивала на это Зина.

Так и пошло с тех пор и дома и по всему двору — «хитрая девчонка».

Училась она мало — некогда было, но читать-писать все-таки умела, а считала безошибочно, потому что сама покупала на рынке каждый день все, что нужно было для обеда на семью в пять душ (отец ее умер, когда ей было лет восемь).

Тремя младшими — двумя сестренками и братишкой — она командовала изо дня в день, нисколько этим не тяготясь, между делом и покрывая иногда для острстки:

— Ой, смотри у меня, а то шлепки дам!

И младшие ее слушались. И так тянулось, пока не подросла ей смена и сама она не поступила на ту же фабрику, где работала мать.

Ей было уже восемнадцать лет, когда началась война и немецкие истребители и бомбовозы загудели над их городом.

Она рыла окопы вблизи городских окраин вместе с тысячей рабочих женщин, а в городе уже рвались сброшенные бомбы и гремела ответная пальба зениток... Наконец, снизившись так, что были видны кресты на крыльях и свастика на хвосте, один воздушный разбойник открыл по ним, работникам-землекопам, стрельбу из пулемета.

Зина не пострадала тогда сама, но около нее оказались две женщины раненые, одна убитая, и в тот же день вечером она стояла в военкомате, просясь на фронт.

— Ну, вы такая маленькая, куда уж вам на фронт! — сказали ей там.

— Ничего подобного! — возмутилась она. — Птичка — невеличка, коготок востер!

— Вообще очень молоды вы, — сказали ей на это и занялись другими делами.

— Восемнадцать лет уж имею, разве мало? — спросила она и добавила не без гордости: — Кроме того, я очень хитрая, товарищ военком!

Не помогло это — ее не взяли.

Тогда, обиженная и упорная, она пробралась на фронт сама, когда линия фронта проходила от города уже всего только в тридцати километрах.

Здесь тоже сначала удивились ей, когда она заявила, что хочет ходить с бойцами в разведку, но потом все же оставили ее, хотя и не разведчиком, а санитаркой, когда узнали, что перевязывать раны она училась.

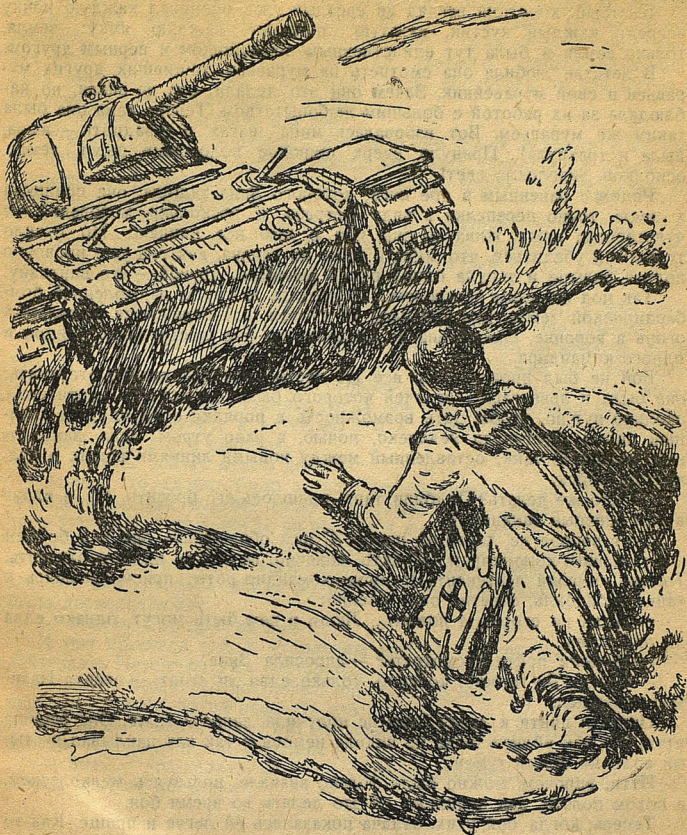
Ей выдали шинельку, плащ-палатку, наган. Она казалась в шинели мальчиком, питомцем роты. Но в первом же бою, такая маленькая и с виду бессильная, заставила она отнестись к ней серьезно.

Казалось всем, что первый большой бой, в который она попала, должен был оглушить, ошеломить ее, раздавить непомерным грохотом артиллерийских залпов, взрывами огромных снарядов, жутким звериным завыванием мин, зловещим тататаканьем ужаснейших машин истребления — пулеметов и автоматов; однако она, маленькая восемнадцатилетняя ткачиха, перенесла, не теряясь, не только это.

Пели пули кругом, но ведь она была санитарка — ей надо было работать, надо было спасать раненых бойцов.

Как именно? Подползать то к одному, то к другому и оттащить их в сравнительно безопасное место вместе с их оружием.

Большая нужна была ловкость, чтобы не только подползти, но суметь и взяться за раненого так, чтобы удобнее было его тащить и ему чтобы не было слишком больно. Этому ее никто не учил, да всех слушав при этом трудном деле нельзя ведь и предвидеть.



Она подкралась наконец к танку, припавшему на правый бок...

Она ползла под пулями и подбадривала себя: «Ничего-ничего... Я допозду, я хитрая!..»

Быстрый, короткий взгляд ее светлых глаз оценивал каждую кочку впереди, каждый кустик, каждую ложбинку, каждую ямку: земля, только земля и была тут единственным помощником и верным другом.

В детстве любила она смотреть на муравьев, тащивших других муравьев в свой муравейник. Зачем они это делали, она не знала, но наблюдала за их работой с большим любопытством. Теперь сама она была таким же муравьем. Вот взорвалась мина шагах в двадцати — выла, выла и трахнула!.. Прянуло вверх широкое полотнище дыма, земли, осколков, заволокло свет!

Рядом с раненым в обе ноги, которого Зина тащила, она прикинула к земле, точно перепелка в виду ястреба, и несколько мгновений не чувствовала даже, жива ли она, или с нею все кончено. Но стоило только ей убедиться, что жива и даже не ранена, как она уже проворно ползла дальше и тянула одной рукой раненого, другой — его винтовку.

Так под сильным обстрелом, где прячась за груды вздыбленной бомбардировкой земли, где прикиная за кустом, где пережидая шквальный огонь в воронке, спасла она во время этого боя шестнадцать бойцов и одного командира.

Бой не был проигран, но все же часть получила приказ отступить; она была в арьергарде, задачей которого было сдерживать противника, сколько нужно, чтобы дать возможность в порядке отодвинуться главным силам. Отступали недалеко, ночью, а рано утром Зина заметила наш подбитый танк, оставленный между новыми линиями наших и вражеских войск.

— Что же делать? Подбили танк, пришлось его бросить. Ну, а вдруг в нем раненые танкисты?

Этот вопрос не давал ей покоя. С ним обращалась она и к бойцам и к младшим командирам, — никто, конечно, не мог ей на него ответить. Только старший лейтенант Назимов, командир роты, присмотревшись к танку в бинокль, ответил определенно:

— Танк не сгорел, а подбит... Люди в нем быть могут, однако едва ли они живы.

— А если пойти посмотреть? — спросила Зина.

— Пойти бы можно, конечно, только едва ли стоит, — сказал Назимов и отошел.

Приказа пойти к танку Зина не получила, запрета тоже. Она решила итти, так как вблизи танка не видела немцев и так как наплывал густыми волнами белый туман.

Итти, впрочем, можно было только вначале, пользуясь мелколесьем, а потом ползти, как пришлось ей это делать во время боя.

Теперь, когда бой утих, задача показалась ей легче и проще. Как-то не хотелось ей даже и думать, что каждая пядь земли кем-то там, в занятой немцами деревне, просматривается в бинокли, подобные назимовскому; в то же время она подползала к танку, пустив в дело всю свою хитрость. Только лисица могла бы так подкрадываться к барабанищему лапками утреннюю зорю зайцу, как она подкралась наконец к танку, припавшему на правый бок и искалеченному снарядом.

Была какая-то смутная радость от удачи, что добралась незаметно для врага, и в то же время ныло сердце: а вдруг командир прав — в танке или никого уже нет, или только лежат убитые? Тогда напрасно, значит, она и пустилась на такой риск.

Люк был сворочен. Она влезла на танк. Трое танкистов лежали окровавленные, скорчившись и без движения. Значит, напрасно ползла.

Все-таки, может быть, кто-нибудь из них жив еще... И она начала поочередно трясти их за плечи. Не напрасно — один застонал, не открывая глаз. Двое других были убиты, но третьего, тяжело раненного, Зина вытащила из танка. Он открыл глаза, посмотрел на нее мутно и удивленно, потом застонал от боли.

— Молчи! — приказала она ему.

Туман отползал, наползал, и вместе с ним могли наползти и немцы.

Действительно, ей удалось только дотащить танкиста до кучки черневшего от дождей сена, как возле танка, шагах в пятидесяти от сена, выросли трое немцев.

Один из них влез на танк и, повернув винтовку прикладом вниз, несколько раз подымал и опускал ее яростно: умерщвлял мертвых. Слышны были глухие звуки ударов даже и танкисту, не только Зине. Он сказал с усилием, полушопотом:

— Вот так... и нас с тобой... убьют... Ты застрели меня... а сама беги.

— Ничего, молчи, — прошептала она ему на ухо. — Не заметят!

Всем юным существом своим она верила в то, что не заметят, ни за что не заметят, уйдут дальше. И то, во что так сильно верилось, случилось: немцы пошли в другую сторону, и тут же нахлынула новая волна белого, как вата, тумана. Тогда она захватила правой рукой правое же плечо танкиста и потащила его к своим. Когда он стонал, она зажимала ему рот и шептала:

— Молчи, сейчас будем дома.

Однако это «дома» было за полтора километра, и несколько часов тащила Зина, как муравей свою ношу, раненого, сначала под прикрытием тумана, а потом, когда он поднялся, по мелколесью.

Здесь она даже рискнула взвалить его на плечи, чтобы было скорее, а когда он застонал при этом сильнее прежнего, сказала совершенно так же, как говорила младшему братишке — в то время, как ей самой было двенадцать лет:

— Молчи, а то шлепки дам!

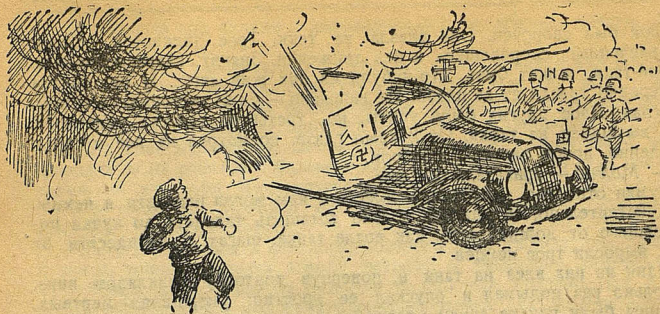
И она принесла его, к удивлению всех, а больше всех — старшего лейтенанта Назимова, уже считавшего ее погибшей.

Уложив спасенного поудобней, она сделала ему, как сумела, первую перевязку, чтобы потом передать его врачу.

— Да вы знаете, Зина, что вы совершили? — с торжественным вопросом обратился к ней Назимов.

— Знаю — «разведку», товарищ старший лейтенант, — догадливо ответила «хитрая девчонка».





Павел Антокольский

БАЛЛАДА О МАЛЬЧИКЕ, ОСТАВШЕМСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

В ту ночь их части штурмовые вошли в советский город Б.
И там прокаркали впервые «хайль Гитлер» в стихнувшей стрельбе.
Входили вражеские части, плечо к плечу, ружье к ружью.
Спешила рвань к чужому счастью, к чужому хлебу и жилью.
Они прошли по грязи грузно, за манекеном манекен.
А этот мальчик был не узнан, не заподозрен был никем;
Веселый мальчик в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий.
Не знает кто-нибудь из вас, погиб ли он, где он сейчас?

Подкрался утром он к квартире и видит: дверь не заперта.
И сразу стало тихо в мире, сплошная сразу пустота.
Мать и сестра лежали рядом. Их немец за ноги волок.
Смотрела мать стеклянным взглядом в потрескавшийся потолок.
Они лежали, будто бревна, — две женщины, сестра и мать.
И он стоял, дыша неровно, и разучался понимать.
Потом он разучился плакать и зубы сжал, но весь дрожал.
И той же ночью в дождь и слякоть куда-то за город бежал.
Веселый мальчик в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий.
Из вас не знает кто-нибудь, куда он мог направить путь?

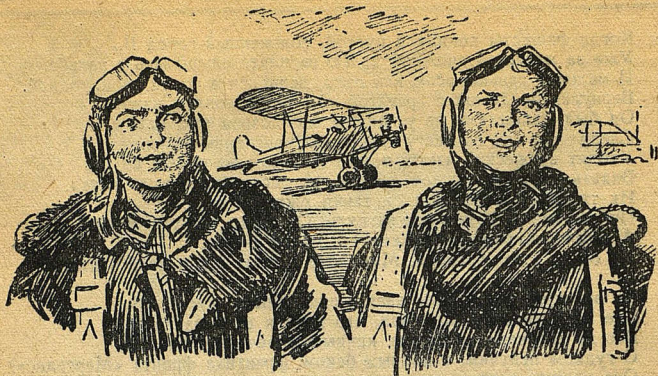
Он знал одно: разбито детство, сломалось детство пополам.
И шел, не смея оглядеться, по страшным вражеским тылам,
По тихим, вымершим колхозам, где пахло смертью и навозом,
По речкам, тронутым морозом, и по некошеным полям.
Он находил везде дорогу, и шел вперед, и шел вперед.
И осень с ним шагала в ногу и возмужала в свой черед.
Она, как в сказке, шла с ним рядом, чтобы его следы замести,
Смотрела вдаль стеклянным взглядом, неотвратимая, как месть.
Так шел он, в майке, в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий.
Из вас не знает кто-нибудь, куда он мог направить путь?

Когда фашисты покидали пустой, сожженный город Б.,
Уже за мгlistой снежной далью расплата слышалась в пальбе.
И мальчик раньше всех, как надо, вернулся в город свой родной.
Вернулся он домой с гранатой. Он ей доверился одной.
Он был фашистами не узнан, не заподозрен был никем.
Следил он, как по снегу грузно, за манекеном манекен,
Уходят вражеские части, ползет по швам железный ад:
Видать, не впрок чужое счастье, не легко будет путь назад.
Их тягачи, и мотоциклы, и танки ржавые, хрипя,
Ползли назад. В нем все затихло. Он ждал, минуту торопя,
А тягачи неумоимо спасали, что могли спасти.
Но он не взвел гранаты. Мимо! Не в этих. Надо цель найти.

Он всматривался, твердо зная в лицо мишень свою: SS.
Где же машина та штабная, что мчится всем наперерез?
Всегда сверкающая лаком, кривым отмеченная знаком,
С гудком певучим, с полным баком, франтиха фронта «Мерседес»?
Она прошла крутым выражем, кренясь и шинами визжа, —
Машина та с начальством вражьем, опухшим, словно с кутежа.
И мальчик подбежал и с ходу гранату в стекла им швырнул.
И, вырвавшийся на свободу, огонь из стекол полыхнул.
Два офицера с генералом, краса полка, штурмовики,
Шарахнулись в квадрате алом, разорванные на куски.
А что же мальчик в серой кепке? Его приметы: смуглый, крепкий.
Не знает кто-нибудь из вас, погиб ли он, где он сейчас?

Не знаю, был ли мальчик взорван. Молчит о нем кровавый снег.
Ребят на белом свете прорва — не перечтешь, не вспомнишь всех.
Но сказка о ребенке смелом шла по тылам и по фронтам;
Написанная наспех, мелом, вдруг возникала тут и там.
Пусть объяснит она сама нам, как он остался безмянным.
За дымом фронта, за туманом шла сказка по его следам.
Пятнадцать лет ему, иль десять, иль, может, меньше десяти?
Его фашистам не повесить, не опознать и не найти.
То к партизанам он пристанет, то ночью, рельсы развинтив,
С пургой в два голоса затынет ее пронзительный мотив.
Он возмужает понемногу, дорогу к фронту разберет.
А сказка с ним шагает в ногу и возмужает в свой черед.
Она идет все время рядом, поет, и в землю бьет прикладом,
И смотрит вдаль недетским взглядом, и гонит мстителя вперед.





Леонид Соболев

«ДВА-У-ДВА»

В коде дружеских позывных под этим наименованием числились в эскадрилье младшие сержанты Усков и Уткин. Прозвище это родилось под крылом самолета, в ожидании боевого вылета. Кто-то спросил:

— А вот еще загадка. Как вернее говорить: «стрижка и брижка» или «стритье и бритье»?

— Старо! — закричали все.

— Тогда поновее: «Усков и Утков» или «Ускин и Уткин»?

— Проще: «два-У-два», — густым басом сказал штурман эскадрильи; и всем это понравилось, даже самим сержантам.

До сих пор их звали «тиграми», что их сердило, — прозвище «тигры» имело свою историю, вспоминать которую они не любили. «Два-У-два» звучало несколько по-цирковому, но очень верно определяло их специальность, подчеркивало их неразрывную дружбу и не задевало самолюбия. Оба они были летчиками, настоящими боевыми летчиками, хотя каждому из них было неполных девятнадцать лет.

Девятнадцать лет... Удивительный возраст! Силы твои еще незнакомы тебе самому, и ты уверен, что можешь совершить много, над чем человек постарше призадумается. Сердце еще горячо, как неостывшая сталь отливки, и силы вскипают, ища выхода в действии. И все — наружу, все — на воле; любовь, отвага, гнев, ненависть — все чувства видны в блистающих глазах и стремительных поступках.

До того как получить самолет, Павел Усков и Иннокентий Уткин два месяца томились в аэродромной команде, и два месяца подряд они ходили то к майору, то к военкому, говоря все одно и то же: оба пришли сюда добровольцами, до призыва, оба комсомольцы, оба имеют диплом пилота, полученный в осоавиахимовском клубе, и за обоими уже по шесть самостоятельных вылетов. Следовательно, им надо немед-

ленно дать по боевому самолету. И всякий раз военком терпеливо разъяснял им, что каждый должен воевать на своем посту, что «вывозить» их на боевом самолете сейчас не время и не место и что он с охотой пошлет их в школу. Майор же сухо и коротко отсылал их на аэродром и однажды, потеряв терпение, пообещал посадить их под арест за обращение к нему не по команде. Они вышли из землянки штаба строевым шагом, в ногу, молча. И только у самых мастерских Уткин мрачно сказал:

— Добились, пилот Усков... Люди воюют, а мы, того гляди, присядем.

— Вынужденная посадка, — бодро ответил тот. — Взлетим еще, пилот Уткин!

— Пожалуй, не взлетим, а вылетим: из эскадрильи в пехоту, — махнул рукой Уткин.

Однако, видимо, несмотря на угрозу «вынужденной посадки», Ускову удалось поднять упавший дух друга, потому что, дав командованию недельку передышки, оба вновь предстали перед военкомом и майором. На этот раз они просили не два, а всего один самолет, и каждый из них просил его не для себя, а для друга. Это был тактический ход, придуманный Усковым, и оба сошлись на том, что ход этот гениален.

— Пилот Уткин, товарищ майор, в аэроклубе был отличником, — докладывал Усков. — У него в Симферополе мать и сестра остались... так что, понятно, драться он будет хорошо...

Уткин, наклонившись к военкому, между тем негромко говорил:

— Павка... то есть пилот Усков, товарищ батальонный комиссар, летает прямо классно... Два брата на фронте... танкисты... Мы хотели просто в окопы проситься, но какой же смысл? Усков один с воздуха больше набьет, верно же, товарищ батальонный комиссар? Это же простой расчет...

— Кого бы из нас вы ни выбрали, товарищ майор, — закончил Усков выпрямляясь, — оба мы будем драться, не щадя жизни...

— Как тигры, — добавил Уткин.

— Какие тигры? — спросил майор сердито.

Уткин опешил.

— Обыкновенные, товарищ майор...

— А вы тигров в воздухе видали? Мелете, сами не знаете что...

Майору было не до юнцов с их просьбой. Утром со вторым звеном не вернулся Савельев, а Панкратов едва довел свой самолет, получив два ранения. Это было в дни первого натиска немцев на Севастополь, и самолеты эскадрильи день и ночь штурмовали на шоссе немецкие колонны, расстреливали врагов в окопах и возвращались на аэродром только за горючим и боеприпасами. Летчики вылетали на штурмовку по пять-шесть раз в день, сильно уставали, эскадрилья несла потери. Майор открыл уже рот, чтобы приказать не путаться тут под ногами, когда военком вдруг спросил Уткина:

— Так сколько у вас вылетов в клубе было?

— Шесть, — поспешно сказали оба враз.

— Шесть? — изумился военком. — Я думал, пять... Ну, коли шесть, ничего не поделаешь, придется подумать... Ну-ка выйдите да обождите за дверью...

Он смотрел на них, хитро улыбаясь, и сердца комсомольцев дрогнули. Насмешка была очевидной. Они четко повернулись и вышли.

Минут пять они стояли у землянки в страшном волнении, без слов, только вытирая со лба пот. Наконец их позвали.

— Дадим вам самолет, один на двоих, — сказал комиссар серьезно. — В очередь будете летать, понятно?

— Понятно, — ответили оба, не понимая, откуда привалило им счастье.

Но точас все стало ясно. Майор сказал, что он решил использовать для боевой службы учебный самолет «У-2», который был в эскадрилье для связи и полетов в тыл, — как раз такой, на каком они учились в клубе. Им поручалось кидать по ночам на передний край немцев бомбы и гранаты. Военком подымется сейчас с каждым, проверит их летные качества, после чего им дадут минимальный срок на обработку ночных полетов и пошлют в боевой вылет.

— Только не деритесь вы там, как тигры, — хмуро закончил майор. — Тигр — животное трусливое. Он только голодный в атаку ходит, понятно?.. Сказали бы просто: будем драться, как комсомольцы, вот и было бы все ясно... Подумаешь — тигры!..

Друзья покраснели.

— Это они в газете вычитали, — пришел к ним на помощь военком. — Я и сам недавно где-то читал: «наши крылатые соколы, как тигры, ринулись на фашистских гиен...» Прямо зоопарк, во как пишут! Майор засмеялся — первый раз за день — и легонько подтолкнул военкома к двери:

— Ну, сажай своих тигров на самолет... Приду взглянуть...

Время было горячее, немцы окружали Севастополь, и дорог был каждый самолет, даже учебный. Мысль военкома понравилась майору, и он сам нашел время заняться с «тиграми» ночными полетами. Оба взялись за дело с удивившей его яростной страстностью, и скоро старенький учебный самолет, который в эскадрилье называли «телегой» или чаще «загробным рыданьем», неторопливо пошел на свою первую ночную «штурмовку». Его вел Усков, а на пустом сиденье второго летчика стояла корзина с малыми бомбами, с гранатами, «зажигалками» и пачками листовок.

И каждую ночь «загробное рыданье» стало ныть мотором над передним краем немцев, методически, с большими промежутками швыряя в окопы гранаты и бомбы. Это, конечно, никак нельзя было назвать штурмовкой, как гордо именовали свои рейсы Уткин и Усков. Но, как известно, и одинокий комар может быть причиной бессонной ночи. И немцы не спали, тревожно прислушиваясь к гуденью в темноте и время от времени получая на головы равномерно капающие с неба бомбы и связки гранат.

Оба «тигра» были теперь совершенно счастливы. На десятом боевом вылете им присвоили звание младших сержантов, и если бы не острое словечко, неизвестно как выпорхнувшее из землянки майора на простор аэродрома, все было бы отлично. Это слово — «тигры» — напоминало им о тех, казалось бы далеких, временах, когда оба они были желторотыми мальчишками.

Теперь они были взрослыми людьми, настоящими летчиками, делавшими суровое и серьезное дело длительной отваги, и романтическое представление о бое как о стремительном прыжке давно уже сменилось отчетливым пониманием, что война — это труд, постоянный, напряженный и опасный труд. Штурм захлебнулся, немцы закопались, не продвигаясь дальше, и каждую ночь по очереди один из друзей долгие часы

гудел над немцами, дожидаясь неосторожно мелькнувшего в блиндаже огня, вспышки орудия, мерцающей очереди пулемета, чтобы кинуть туда с темной высоты небольшую, но злую бомбу.

Это была точная, снайперская ночная работа. Днем «загробное рыдание» появляться над фронтом не могло — его сбил бы первый же «мессершмитт», — но ночью старый учебный самолет, ведомый юношей с крепкими нервами и с горячим сердцем, полным ненависти, был хозяином темноты над немецкими окопами. Немцы, не смея открыть на переднем крае прожекторов, били по нему наугад, по звуку мотора, тратя огромное количество пуль и снарядов. Порой он попадался в эту светящуюся сеть и тогда привозил в крыльях дырки. Друзья латали их вместе, и ночью их самолет вновь швырял свои бомбы надоедливо и размеренно, доказывая, что в войне всякое оружие хорошо, если умно и смело его применять.

Но, несмотря на то что Усков и Уткин завоевали себе общее уважение, «тигры» продолжали красться за ними по пятам и предвирать собой всякое появление двух друзей: летчики любят шутку, веселый розыгрыш, и не использовать столь выгодное прозвище было просто невозможно. На аэродроме, у самолета, в мастерской друзья кое-как это терпели. Но в столовой...

— Дуся, тигры пришли, голодные, как крылатые соколы! — возгласил кто-либо, заведя их в дверях. — Готовьте добавку, Дуся!

Это было хуже всего. Дуся была буфетчицей, комсомолкой — и необыкновенной, единственной, замечательной, умной, отзывчивой... Впрочем, не к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет видел в девушке, в которую был влюблен, но помножит все это на два. Ибо влюблены в нее были оба и в разговорах о ней между собой, естественно, находили вдвое больше определений.

Поэтому, когда «тигры» наконец были сданы в архив и на аэродроме появилось новое прозвище, оба почувствовали необыкновенное облегчение: теперь и в глазах Дуси оба перестали быть мальчишками.

А это было очень важно. Дуся никак не хотела понять, что каждый из них давно (уже третий месяц!) видел, какой одинокой будет его дальнейшая жизнь, если Дуся не свяжет с его судьбой свою. Вопрос этот был глубоко прочувствован и решен каждым. Остановка была только за тем, с кем именно из системы «два-У-два» захочет она связать свою судьбу. Игра велась честно, без подсидки, оба провожали Дусю по очереди в свой «выходной день», и Дуся относилась и к тому и к другому одинаково дружески.

В этих прогулках получалось почему-то так, что каждый из друзей говорил не о себе, а об ушедшем на штурмовку друге, горячо расхваливая его. И Дуся, прислушиваясь к этому, очутилась перед железной необходимостью отдать свое сердце сразу всей системе «два-У-два» как неразрывному целому: выбора сделать не представлялось возможным. И, может быть, бедное Дусино сердце не выдержало бы этого, если бы инстинкт самосохранения не подсказал ей спасительного выхода: Дуся влюбилась в третьего, и при этом не в летчика, а в старшину второй статьи с крейсера, даже не очень часто заходившего в Севастополь. Таково девичье сердце в восемнадцать лет: дальнюю мечту оно предпочитает близкой реальности.

Первому узнать об этом привелось Павлу Ускову. Был тихий декабрьский вечер. Прозрачный и холодный воздух, странный для Крыма,

был свеж, и Дусины щеки горели пленительным огнем. В первый раз Усков захотелось говорить не об отваге и замечательных свойствах Кеши Уткина, а о самом себе. Но за пропускным пунктом в сумерках показалась высокая фигура в бушлате, Дуся с легким вскриком кинулась к неизвестному краснофлотцу, и черные рукава бушлата, скрестившись на ее спине, почти закрыли всю Дусю в поле зрения ошеломленного сержанта.

Такая горячая встреча была вполне естественна, потому что крейсера не было больше двух недель и о нем поговаривали разное.

Усков кинулся на аэродром. Сумерки сгустились, но Уткин еще не взлетал. Однако Усков нашел в себе достаточно мужества, чтобы не испортить другу его боевой вылет, и на вопрос его, почему он так рано вернулся, сказал, что Дуся что-то устала и пристроилась на машину, идущую в город. Он проводил друга в воздух и остался ждать его на аэродроме.

Они провели бессонное утро во взаимных жалобах. К обеду оба уже удивлялись тому, что, собственно, они нашли в Дусе. Из обмена мнений выяснилось с достаточной ясностью, что она всегда была девушкой бессердечной, пустой, лицемерной, жестокой, ничем не замечательной... Впрочем, не к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет обнаруживал в девушке, которая от него отвернулась, но помножит все это на четыре. Ибо оскорблены были двое и каждый из них вдобавок был еще оскорблен за друга. Таково юношеское сердце в девятнадцать лет: с высот любви оно погружается в самые глубины презрения.

Но страдать было некогда: начался второй штурм Севастополя. Это не входило в планы друзей, потому что майор обещал как раз на этой неделе, пока в войне затишье, начать их тренировку на боевых самолетах. Теперь опять было не до того, и «два-У-два» продолжали по очереди вылетать на свои «штурмовки» переднего края, который они знали уже наизусть. И дружба, выдержавшая испытание любовью, крепла и закалялась в грозных испытаниях войны.

«Два-У-два» стали символом неразрывной, верной, мужественной дружбы.

Кольцо осады сжималось, аэродром оказался у самого переднего края обороны, и эскадрилья перешла на новое место, к самому берегу моря.

Это был аэродром, построенный в дни осады руками севастопольских горожан. Под обстрелом тяжелой артиллерии врага севастопольцы давно уже расчищали на мысе, врезавшемся в море, каменное поле — последний приют для самолетов на случай, если враг придвинется к городу. Они растаскивали огромные глыбы. Они равняли твердые пласты скалистого мыса. Они взваливали убранный с поля камень на бревенчатые срубы капониров — укрытий для самолетов.

И поле и камень были здесь странного, кровавого цвета.

Когда эскадрилья садилась на аэродром, был ясный, солнечный день. Тесное каменное поле нового аэродрома красным клином врезалось в яркую синеву зимнего моря, и красные каменные громады капониров высились на поле, подобные памятникам седой древности, похожие на первобытные храмы, сложенные руками великанов. Но сложили их не великаны: это сделали севастопольские мужчины и женщины, старики и подростки.

В чистом и прозрачном воздухе красный и синий цвета блистали всей

ясностью тонов, и мужественное, строгое их различие было сурово, торжественно и напряженно. Ничто не унижало этой мужественной строгости картины, ни один невнятный, вялый полутон. Все было ясно и четко.

Тени были черны мрачной чернотой, напоминающей о грозной туче, нависшей над городом-воином. Камни были красны яркой алостью крови, как будто они впитали в себя благородную кровь его защитников. Море и небо синели пронзительной, освежающей душу чистой, первозданной синевой, великим спокойствием простора, свободы и надежды. И солнце, вечное, бессмертное солнце сияло в небе, отражалось в море и освещало красный камень. Добродушное, горячее крымское солнце отдыха и здоровья было теперь строгим и холодным светилом мести.

Так виден был с воздуха этот удивительный аэродром, памятник, воздвигнутый севастопольцами самим себе, — памятник мужества и упорства советских людей, решившихся биться до конца за город доблести, верности и славы: траур, кровь, надежда и месть.

Едва эскадрилья села, над полем взвилась ракета. В красных каменных ульях, раскиданных по нему, зажужжали потревоженные пчелы. Гудя, они высовывали из груды камней свои широкие серебряные головы, поблескивая стеклянными глазами и как бы озираясь. Потом они вытягивали все свое длинное, крепкое тело, расправляя жесткие сверкающие крылья, и с мстительным злым гуденьем взвивались в синее небо. Бомбардировщики пошли на очередной бомбовый удар.

Друзья, первый раз летевшие вместе на своем «загробном рыданье», с завистью проводили их глазами и, вздохнув, повели своего «старичка» на край аэродрома. Укрытия для него не нашлось, и первое, чем занялись «два-У-два», была постройка капонира. Забота о своем самолете еще более сблизила их, но, как ни странно, именно здесь, на аэродроме славы, в тяжкие дни второго штурма, система «два-У-два» потерпела серьезную аварию.

Это была не ссора. Это был разрыв. И хуже всего было то, что это произошло на глазах большого начальника, прилетевшего из Москвы.

Генерал осматривал новый аэродром, обходя капоныры. В эскадрилье майора он поинтересовался, где прославленное «загробное рыданье», слух о подвигах которого дошел и до него, и где эти «два-У-два», которых ставят в пример дружбы. Он наклонился к майору и сказал, что ребят пора представить к награде и на нее не скупиться и что им следует дать боевые самолеты.

В этом разговоре они дошли до укрытия. Здесь было тихо, гуденье взлетающих самолетов доносилось едва слышно. И в этой тишине генерал услышал раздраженные голоса и брань.

— Ты подхалим, понимаешь? Подхалим и пролаза, понятно? — кричал один голос. — За такое дело тебе ряжку на сторону своротить не жалко, понятно?

— А ты завистливый дурак, понятно? — перекрикивал второй голос. — Подумаешь, крылатый тигр!.. Задаешься, а не с чего! Что я тебе — докладывать должен? Я летчик, меня и послали...

— Ты летчик? Ты черпало, а не летчик, вот ты кто!

— А из тебя и черпалы не выйдет! Тебе и на подхвате стоять ладно!

Генерал быстро зашел за угол капонира и во всей красе увидел знаменитую систему «два-У-два».

Система явно сломалась. Сержанты стояли красные, злые, смотря друг на друга бешеными глазами, сжимая кулаки. И драка, вероятно,

состоялась бы, если бы майор (едва удержавшись, чтобы не схватиться в отчаянии за голову) не окликнул их по фамилиям. Они повернулись, тяжело дыша, с трудом скрывая ярость, и стали «смирно».

— Это и есть «два-У-два»? — спросил генерал, пряча улыбку. — Ничего себе дружба у вас в эскадрилье! А звону развели... до самой Москвы... Это петухи какие-то, а не летчики.

Все молчали, и только тяжело дышали оба «петуха».

— Объяснить можете, товарищ майор? Нет?.. Тогда вы, сержанты. В чем дело?

Вперед выступил Уткин, и когда он, волнуясь, заговорил, майор с изумлением увидел перед собой не сержанта, отважного и спокойного летчика, а обыкновенного мальчишку-школьника, чем-то избитого до слез. Слезы и вправду стояли в его глазах. Он путанно рассказал, что в прошлую ночь была его очередь лететь на бомбежку, но Усков «забежал» к майору, наговорил тому, что нашел минометную батарею и что нынче лучше лететь ему, потому что рассказать, где она, трудно и Уткин ее не найдет, — словом, Усков полетел вчера не в очередь... Уткин стерпел — одна ночь не в счет. Но сегодня-то уж его очередь лететь! А Усков опять нахально говорит, что полетит снова он, потому что он, мол, не виноват, что его послали вместо Уткина... И вообще Усков подхалимничает перед командованием, выпрашивает себе поручения, и это не по-товарищески, не по-комсомольски, это...

— Довольно, — сказал генерал хмуро. — Что ж, товарищ майор, раз они самолет поделить не могут, снимите их с полетов совсем. Война идет, а они склоками занимаются...

Лица обоих вытянулись, и Уткин сделал еще шаг вперед.

— Это же не склока, товарищ генерал-майор, — сказал он в отчаянии. — Разрешите доложить.

— Ну, докладывайте, — попрежнему хмуро сказал генерал.

Но это не был доклад. Это был страстный крик горячего юношеского сердца. Кипящее отвагой и стремлением в бой, полное ненависти к врагу, сжигаемое жадной мести и уязвленное обидой, оно раскрылось перед командирами во всей своей пленительной, трогательной, несколько смешной, но покоряющей красоте. Оно было еще горячо, как неостывшая сталь отливки, силы в нем бурлили, ища выхода в действии, и все в нем было наружу, все — на воле: отвага, гнев, обида и страсть... Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

Генерал слушал его прерывистую речь, смотрел в его глаза, в которых читал больше, чем мог рассказать это Уткин, и всепобеждающая, огромная сила юности, в гневе схватившейся за оружие и не желающей уступать его никому, всколыхнула и его сердце. Он поймал себя на том, что хочет тут же обнять этого юношу, как сына, и негромко, в самое ухо, сказать: «Хорошо, сынок, хорошо... Зубами держись за каждую возможность уйти в бой, никому не уступай права бить врага, никому... Сам бей, пока молодо сердце, пока руки крепки... Хорошо, сынок, хорошо!»

Но он опустил глаза, в которых Уткин, казалось, уже видел сочувствие и понимание, и сухо сказал:

— Понятно. А в драку младшим командирам лезть не годится.

Он помолчал и вдруг закончил:

— А теперь помиритесь. При мне.

«Два-У-два» мрачно посмотрели друг на друга. Потом Усков, поколебавшись, первый протянул руку. Уткин, помедлив, взял ее. Но лица



Потом Усков, поколебавшись, первый протянул руку.

обоих были такие кислые, что командиры невольно отвернулись, чтобы скрыть улыбку, а генерал махнул рукой:

— Петухи!.. Ну, что ж... Самолет мы у вас отнимем. Подумайте на досуге. Может, помириться.

И самолет у них точно отняли. Правда, вместо него каждый из них получил по штурмовику, а оба вместе — новое прозвище: «петухи». Оно было вернее, ибо система «два-У-два» уже оказалась ненужной: каждый летал на своем самолете, рядом с другим, в одном звене.

Но все же, однако, «два-У-два» еще раз прозвучало на каменном аэродроме. Это случилось весной. На фронте опять было затишье, но «петухи» исправно вылетали всякий день на штурмовку немецких окопов — теперь уже днем, при солнце, поливая врагов из пушек и пулеметов. Из одной такой штурмовки Уткин не вернулся.

Усков доложил майору, что Уткина, очевидно, подбили снарядом, потому что он задымил и резко пошел к морю. Пойти за ним было нельзя — надо было еще поддерживать нашу контратаку. Удалось заметить, что он тянул к той косе, что слева за высотой 113,5 и где немцев нет. Если послать туда самолет, есть шанс поднять его раньше, чем туда доберутся немцы, которые, несомненно, кинутся за самолетом.

Усков доложил еще, что косу эту он знает. На ней нельзя сесть ни штурмовику, ни истребителю — мала площадка. Он попросил разрешения слетать за Уткиным на «У-2», которому места там хватит и для посадки и для взлета. Майор разрешил.

И снова старый самолет почувствовал руку одного из своих прежних хозяев. Он послушно повернул в море — Усков решил идти низко над водой, чтобы не быть замеченным истребителями. Над морем мотор начал фыркать, чего он никогда себе раньше не позволял, когда был в их руках и когда знал настоящий уход и заботу.

Скоро показалась коса. Самолета на ней не было, не было видно и людей. Уткин сел, остановил мотор, чтобы не привлечь немцев шумом, и прислушался. Сумерки сгущались, каменные скалы нависали над ко-сой таинственно и мрачно.

Он негромко крикнул:

— Кеша! Живой?

И тогда из скал вылез Уткин, в мокрой одежде, таща за собой резиновую камеру от колеса.

— Павка? — сказал он. — Я и то подумал, какой чудак тут на телеге сидится. Спасибо.

— Потом скажешь. Крутани винт, а то застукают, — торопливо сказал Усков.

— Никого тут нет. Были бы, убили бы. А я, видишь, живой. Только мокрый. Я, понимаешь, самолет в воду грохнул, чтоб не доставался.

Он повернул винт, но мотор не заводился.

Добрый час оба летчика бились с мотором, вспоминая его капризы. Но старый самолет, когда-то не знавший отказа, видимо, в чужих руках одряхлел. Мотор так и не заводился.

Они присели на берегу. Было почти темно. Уткин сказал:

— Значит, Павка, все одно придется вплавь.

— Далековато, пожалуй, — сказал Усков. — И вода холодная.

— В море подберут. И у меня камера есть.

— Нуриял?

— Ага. Вспомнил, что запасная в кабинке была... На камере-то доплывем?

— Пожалуй, доплывем, — сказал Усков. — Ну, так поплыли!

Они надули камеру и вошли в воду. Вода была нестерпимо холодная, а раньше утра их вряд ли могли подобрать. Они плыли больше получаса, потом Усков выругался:

— Кеша, что же мы «загробное рыданье» не сожгли? Починят немцы. Что ни говори, машина боевая...

Уткин выругался тоже.

— Поплыли обратно, — сказал он. — До рассвета далеко, успеем отплыть еще.

И они повернули к берегу. Едва они вышли из воды, их сразу охватил озноб.

— Согреемся, как загорится, и поплывем, — сказал Уткин и собрался открыть бензотанк.

Но Усков его остановил:

— Крутанем еще на счастье?

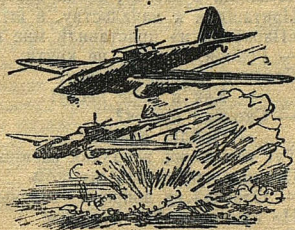
Уткин повернул винт, и по четвертому разу мотор загудел. Уткин быстро вскочил в кабину и крикнул в самое ухо Ускову:

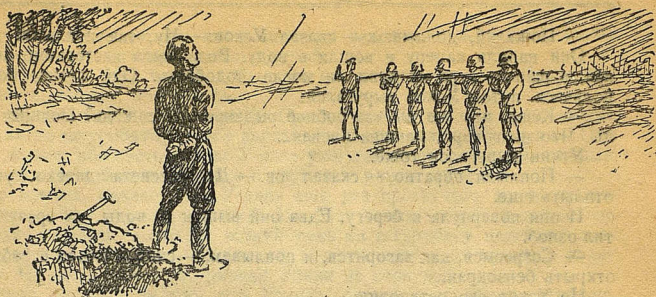
— Да здравствует «два-У-два»!

— Долой «петухов»! — ответил Усков и дал полный газ.

«Загробное рыданье» затарахтело в темноте и покатилося к морю, но, чутьем угадав воду, Усков поднял в воздух старый самолет, свидетель боевой славы, мальчишеской ссоры и новой — взрослой, крепкой, воинской — дружбы двух морских летчиков, каждому из которых было девятнадцать лет.

Девятнадцать лет! Удивительный возраст...





А. Сурков

РАЗВЕДЧИК ПАШКОВ

Видно, был я в тот вечер в разведке плох,
Видно, хитростью я ослаб.

Заманили в засаду, взяли врасплох,
Притащили к начальству, в штаб.

«Парабеллум» приставили мне к виску.

— Говори, подлец, не крути:

Сколько красных в лесу?

— Как в море песку!

— Сколько пушек?

— Пойди, сочти!

Тут начальник всердцах раскроил мне бровь,
Приказал щекотать штыком.

— Отвечай на вопросы, собачья кровь,

Не прикидывайся дураком!

В трех соснах, говорит, подлец, не кружись,
Отвечай, говорит, не грубя.

Скажешь правду — в награду получишь жизнь,

Утаишь — пеняй на себя... —

Если бьют тебя наотмашь, боль сильна.

Это надо, браток, понять.

Я прикинул в уме: дорога цена,

И решил на себя пенять.

Рвали руки мне раз, и другой, и пять,

Били в спину и по плечу.

Мне о том, понимаешь, жуть вспоминать.

Я о том вспоминать не хочу.

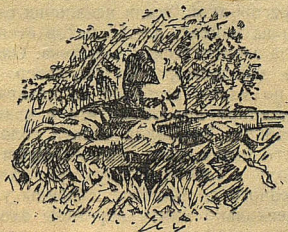
Видит главный, пытка меня не берет,

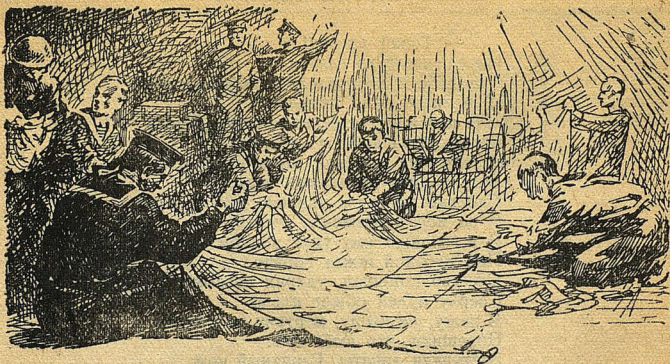
Разорвал протокол со зла.

Дали в руки лопату.

— Топай вперед! —

Повели меня из села.
Сам себе я взбивал земляную постель,
И меня торопил приклад.
Для неважных стрелков хорошая цель
Безоружный красный солдат.
Разомкнули они над могилой кольцо.
Бить в упор небольшая честь!
Сколько вспышек ударило мне в лицо,
Я не мог, понимаешь, счесть.
Я в готовую яму упал ничком.
Под рубахой жжет горячо.
Офицер подошел, ударил носком,
Сверху пульей обжег плечо.
Я лежу, не дышу, мертвяк мертвяком.
Порешили, что амба мне.
Застучали лопаты. Глиняный ком
Холодком прошел по спине.
Закопали могилу, ушли в село.
Тяжким грузом сдавило грудь.
Шевельну ногами, а ноги свело,
Глиной рот забит, не вздохнуть.
Задохнуться в могиле какая сласть?
Стал пытаться я судьбу-каргу.
И откуда вдруг сила во мне взялась.
До сих пор понять не могу.
Повернулся. Глину руками разгреб.
Сам себя ощупал — живой!
Под ногами холодный глиняный гроб,
Небо в звездах над головой.
Целовал я холодные комья земли,
Уползая к ребятам в лес.
В десять тридцать меня враги погребли.
А в одиннадцать я воскрес.
Через день после первых моих похорон
Я про раны свои забыл
И опять досылал в патронник патрон
И своих могильщиков бил.





Валентин Катаев

ФЛАГ

Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирпичи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.

Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.

Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещеру плавно подымались три дальнобойных орудия. Они подымались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобках блестело тугое зеленое масло.

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной нише, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.

Простыни слепающего оранжевого огня вылетели из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько минут обратное эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.

Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны. Больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от непрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы, торпедные катеры и десантные шлюпки шныряют вокруг — враг хочет взять остров штурмом; но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его...

Но время шло.

Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила.

— Ну? — сказал наконец комиссар.

— Вот тебе и ну! — сказал командир. — Все.

— Тогда пиши.

Командир не торопясь открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведен последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия — на одни сутки».

Он закрыл журнал, эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скрепленную сургучной печатью, подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку.

— Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки.

В дверь постучали.

— Войдите.

Дежурный в глянцево-м плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндр.

— Вымпел?

— Точно.

— Кем сброшен?

— Немецким истребителем.

Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился. На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком синими ализариновыми чернилами было написано следующее:

«Господин командантский советский форт и батареи. Вы есть окружены зовсех старон. Вы не имеете больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Узловия: весь гарнизон форта зовместно командантский и командиры оставляют батари форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирка — там сдаваться. Ровно 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирка должен есть быть иметь выставить бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь».

Командир немецкий десант контр-адмирал фон-Эвершарп».

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:

— Хорошо. Идите.

Дежурный вышел.

— Они хотят видеть флаг на кирке, — сказал командир задумчиво, когда дежурный вышел.

— Да, — сказал комиссар.

— Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтоб они его непременно заметили. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?

— У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди — ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.

Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах грубый вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.

Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он стал на табурет и снял со стены кумачевую полосу с лозунгом.

Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный красный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундуках.

Незадолго до рассвета флаг размеров по крайней мере в шесть простынь был готов.

Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.

На рассвете в каюту фон-Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон-Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошел к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами одеколоном. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыхание, поднимая для приветствия руку.

— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон-Эвершарп, играя витой слоновой кости рукояткой кинжала.

— Так точно! Они сдаются.

— Хорошо, — сказал фон-Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично!.. Свистать всех наверх!

Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон-Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал.

Море казалось высеченным из гранита.

Над силуэтом рыбацкого поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпилье. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.

— Бедняги! — сказал фон-Эвершарп. — Им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь, капитуляция имеет свои неудобства.

Он отдал приказ.

Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров выросал, приближался. Теперь уже простым глазом

можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.

В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем войдя в длинную дымчатую тучу, а нижним — касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.

— Чорт возьми, как красиво! — сказал фон-Эвершарп. — Солнце выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.

Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабого места. Они врывались в узкие, извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.

Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя и падая и снова подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.

Фон-Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищен великолепным зрелищем штурма. Его лицо подергивали судороги.

— Вперед, мальчики, вперед!

И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческого тела. Скалы наполнили одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где горами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.

Морщина землетрясения прошла по острову.

— Они взрывают батареи! — крикнул фон-Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции!

В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все, кроме флага на кирхе. Фон-Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон-Эвершарп понял все. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон-Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон-Эвершарпа. Он обманул сам себя.

Фон-Эвершарп отдал новое приказание.

Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катеры, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбацкого поселка, как тыльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.

И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре

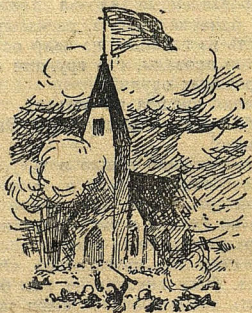
стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный, последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполняли ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе.

Но силы были слишком неравны.

Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вдоха.

Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. Алый коленкорový переплет первого тома «Истории гражданской войны» и два портрета Ленина и Сталина, вышитые гладью на вишневом атласе, — подарок куйбышевских девушек, — были вшиты в эту огненную мозаику.

На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сраженья, вперед, к победе.





Николай Тихонов

БАЛЛАДА О ТРЕХ КОММУНИСТАХ

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов —
Разведчики бывалые, поход для них не нов.

Стоят леса зеленые, лежат белы снега.
В них гнезда потаенные проклятого врага.

Зарылись дзоты серые, переградив пути,
Ни справа и ни слева их никак не обойти.

Здесь залегла неметчина в приволховском песке.
И в лоб идут разведчики, гранату сжав в руке.

То дело им знакомое — и в сердце ровный стук,
Когда гуляют громы их гранатные вокруг.

Гуляют дымы длинные меж узких амбразур —
И трупы немцев синие валяются внизу.

И снег как будто глаже стал и небо голубей —
Бери оружие вражье, повертывай и бей.

И взвод вперед без выстрела — но тотчас взвод залег,
Попав под град неистовый из новых трех берлог.

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов —
Все трое в то мгновение увидели одно:

Что пулеметы вражьи из амбразур не взять,
Что нет гранаты даже — и медлить им нельзя!

Что до сих пор разведчики, творя свои дела,
Не шли туда, где легче им, — куда война вела.

И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих
Три коммуниста гордых, три брата боевых.

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов
Глядят на дзоты серые, но видят лишь одно:

Идут полки родимые, ломая сталь преград,
Туда, где трубы дымные подьмет Ленинград,

Где двести дней уж бьется он с немецкою ордой,
И над врагом смеется он смертельной красотой.

Спеши ему на выручку! Лети ему помочь
Сквозь стаи псов коричневых, сквозь व्यюгу, битву, ночь!

И среди грома адского им слышен дальний зов —
То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!

И оглянулись трое: и, как с горы видна,
Лежит страна героев, родная сторона.

И в сердце их не прежний, знакомый ровный стук —
Огнем оделось сердце, и звон его вокруг.

И ширится с разлету и блещет, как заря, —
Не три бойца у дзотов, а три богатыря.

Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит,
Но прямо сквозь метелицу идут богатыри.

Вы, немцы, псы залетные, смотрите до конца,
Как дула пулеметные уперлись в их сердца.

А струи пуль смертельные по их сердцам свистят, —
Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят.

Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих.
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их!

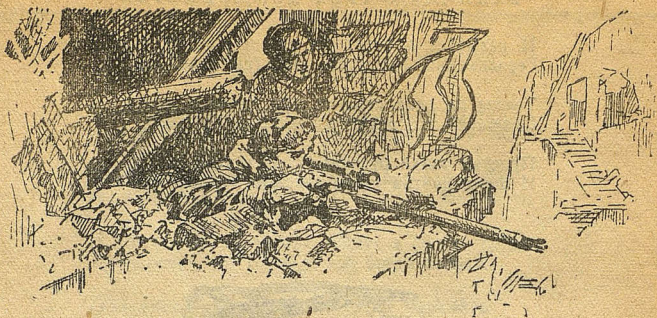
И взвод рванул без выстрела — в штыки идет вперед,
И снег врагами выстелен — и видит дзоты взвод.

И называет доблестных страны родной сынов:
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов!

Темны их лица строгие, как древняя резьба,
Снежинки же немногие застыли на губах.

Простые люди русские стоят у стен седых,
И щели дзотов узкие закрыты грудью их!





Василий Гроссман

ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые круглые, чуть желтые, чуть зеленоватые глаза — не поймешь, светлые они или темные — видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «Не слышу».

Анатолию Чехову идет двадцатый год. Он прожил невеселую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих-стариков своей готовностью помочь обиженному, он с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его пил, жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми. Года за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями — стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов.

— Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел

бить по живому, — говорит он. — Ну, я хотя в школе снайперов шел по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет».

Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги; он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через девять линз оптического прицела.

Лейтенант ошибся — при стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов поразил «в голову» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором — учить курсантов снайперской и обычной стрельбе, пользованию автоматом и различными гранатами. Так уж повелось, что в школе, и на производстве, и в военном деле он легко и в совершенстве овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел бить по живому», захотелось пойти на передовую.

— Я хотел стать таким человеком, который сам уничтожает врага, — сказал мне Чехов.

На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» — и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на глаз с точностью до двух-трех метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию девяти двояковыпуклых и вогнутых линз.

Первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем минометным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и тонко решал их, и в этих решениях ему приходилось напрягать не только свои сильные молодые руки и ноги, ясные совершенные глаза, но и думать, думать напряженно, быстро, трудно, как, пожалуй, не случалось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, которые любил для устрашения школяров закатывать педагог.

Чехов получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему — в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в гряде кирпича, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны — окна с обгоревшими лоскутами занавесок, свисавшую железными спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остоны кроватей. Его пытливый глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей; он видел поблескивающие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порывевшие и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покособившиеся куски жести, развеванные дыханием пожара, словно лег-

кие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли черные кабели, толстые водопроводные трубы — мышцы и кости города.

Чехов сделал выбор — он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены. Этажи различались лишь по разной окраске стен: квартира второго этажа была розовой, третьего — темносиней, четвертого — фисташковой, с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий обзор: прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше, метрах в шестистах-семистах, начиналась площадь. Все это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке у остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него. Он становился совершенно невидимым в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунный узор перил, поглядел вниз. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в ста метрах от того места, где сидел Чехов. Четыре минуты юноша смотрел на немцев. Он медлил. Это чувство нерешительности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нем рассказывал Чехову знаменитый Пчелинцев, приезжавший в школу снайперов и вспоминавший о своем первом снайперском, охотничьем выстреле по фашистскому солдату. Немцы прошли.

Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темносиним. Словно серые тихие покойники, стояли высокие обгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, — толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медово-желтой, спелой, а свет ее, словно отделившийся от меда сухой белый воск, казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой белый свет тонкой пленкой лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающий, как лед, асфальт улиц и площадей.

Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, веселым, вернуть из холодной степи эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на грейдере попутных машин; этих мальчишек и девчонок, со старческой серьезностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска, этих стариков, кутающихся в бабьи платки; городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновья пальто и шинельки.

Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка, распушив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем.

Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья... Послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам.

Чехов приподнялся, посмотрел: в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры — немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было: вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят!» подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо, с железной злобой заработал со-

ветский пулемет. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз.

В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шелковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку; чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшенной каши, сидел на кирпичиках, рассматривал пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» и слушал, как в темном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцевальных площадках, о славных девочках. И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой картину мертвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяжесть жизни. «Отец часто шумел — мне и читать и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесенного немцами нашей стране; он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его.

Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил:

— Ну что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?

Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:

— Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.

Утром он встал до рассвета, не попил, не поел, а лишь налил в баклажку воды, положил в карман несколько сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассветло, кругом все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. (Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами, носят офицерам мыться.) Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей — он отнес прицел от носа солдата на четыре сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то темное, голова мотнулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал на бок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец; в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пройти к лежавшему с ведром, но не прошел. «Три!» сказал Чехов и стал спокоен. В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок; туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу — донесение.

Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку. Чехов знал их утреннее и дневное меню: хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его примерно тридцать-сорок минут и после кричали хором: «Русс, обедать!»

Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство. Ему, веселому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пы-

таются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорбило чистоту его души, и в обиденный час он был особенно беспощаден. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тужурки, фуражки; они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, пилютке. Ему хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле, вогнать в самую землю.

Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки — «жалел бить по живому», — стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?

К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шел уверенно; из всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним навстречу. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.

Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, чем в стоящего: попадание получалось точно в голову. Он сделал одно открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дуло винтовки до края стены сантиметров на четырнадцать-двадцать. На белом фоне выстрел не был виден.

Он желал теперь лишь одного: чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост; он желал пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. И он добился своего: к концу первого дня немцы не ходили, а бегали, к концу второго дня они стали ползать. Утром солдат не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной: они отказались от свежей воды и пользовались гнилой из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина.

Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь — били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «тыркали и гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали: «Русс, ужинать!»

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты — немцы копали в мерзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений: немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы — они отказались от воды, но хотели по этим траншеям подтаскивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле», подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразушку. Вчера ее не было. Чехов понял: немецкий снайпер. «Гляди», шелнул он сержанту, пришедшему смотреть его работу, и нажал на спусковой крючок. Послышался крик, топот сапог — автоматчики унесли снайпера, не успевшего сделать ни одного выстрела по Чехову.

Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробирались до асфальта, перебегали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал

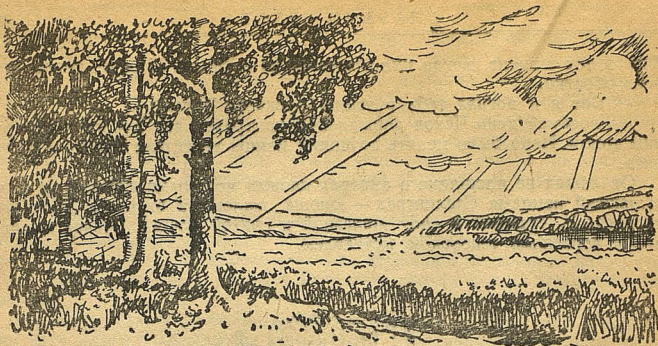
бить в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец пополз обратно.

— Вот я и вогнал тебя в землю; — сказал Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все дороги к немецким домам. Надо было менять позицию: немцы перестали ходить и стрелять.

Он лежал на площадке и смотрел своими молодыми глазами на разрушенный немцами Сталинград — юноша, жалевший бить «по живому» из рогатки, ставший в силу железной и святой логики Отечественной войны страшным человеком, мстителем.





Александр Прокофьев

РОССИЯ

Товарищ, сегодня над нею
Закаты в дыму и крови.
Чтоб ненависть была сильнее,
Давай говорить о любви.

Под грохот тяжелых орудий
Немало отхлынуло дней.
Товарищ, мы — русские люди,
Так скажем, что знаем о ней.

Расскажем, и все будет мало,
Споем, как мы жили в ладу.
Товарищ, ты будь запевалой,
А я подголоском пройду!

Вся в солнце, вся свет и отрада,
Вся в травах-муравах с росой,
Широкие ярусы радуг
Полнеба скрывали красой!

Поляны, поляны, поляны
Везде земляничкой цвели,
Баяны, баяны, баяны
Звенели, горели и жгли!

Катились глубокие воды,
И ветер слетал с парусов

На красные трубы заводов,
На кроны дубрав и лесов.

И хмурые видели глыбы
В гранитном подножье — прибой,
И в заводы, полные рыбы,
Слетались чайки гурьбой!

И день занимался прекрасный,
И, весен веселых гонцы,
Галчата сидели на пряслах
И шли бороздою скворцы.

Ручьи в краснотале, всех краше
В них звезд голубых огоньки,
В них русские девушки наши
Бросали цветы и венки!

И «любит, не любит» гадали
В тени белоногих берез...
О, милые, светлые дали,
Знакомые с детства до слез!

Долины, слепящие светом,
Небес молодых синева,
На всем этом русская мета
И русского края молва!

Нам дорого это и свято,
Нам край открывался родной
За каждой травинкой примятой,
За каждой былинкой степной.

За красною шапкой рябины,
За каждым дремучим ручьем,
За каждой онежской былиной,
За всем, что мы русским зовем,

Встают за высокою рожью,
За взлетом на крышах коньков,
За легкой знакомою дрожью
Склоненных к воде ивняков,

Родней всех встают и красивой
Леса, и поля, и края...
Так это ж, товарищ, Россия,
Отчизна и слава твоя!

ИВАН СУХАНОВ

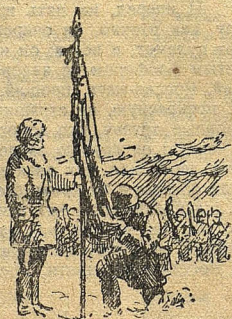
В ночь темную-претемную, грозящую бедой,
Идет Иван Суханов, разведчик молодой.
За ним его товарищи в ночь темную идут,
Гранаты, автоматы их нигде не подведут.
Летит в глаза Суханову лишь ночь со всех сторон,
До горла песен у него, а петь не может он!
Безмолвна тьма нависшая, лиха ее стезя.
Как много слов к товарищам, а высказать нельзя!
Нельзя сказать, нельзя сказать, промолвить не спеша,
В каком саду, каким огнем горит его душа!
Молчи, Суханов, здесь враги подстерегают нас,
Ползи, Суханов, в добрый час, ползи в недобрый час!
Здесь каждый шаг твой стерегут — с лесов, с болот, с высот.
...Бьет пулеметная струя, и люди видят дзот,
И жмут разведчиков к земле смертельные огни.
Пятьсот мгновений иль семьсот — не считаны они!
Сейчас зальется свора вся, залает наугад...
«Ты у меня замолкнешь, гад, сейчас замолкнешь, гад!»
Суханов крикнул.

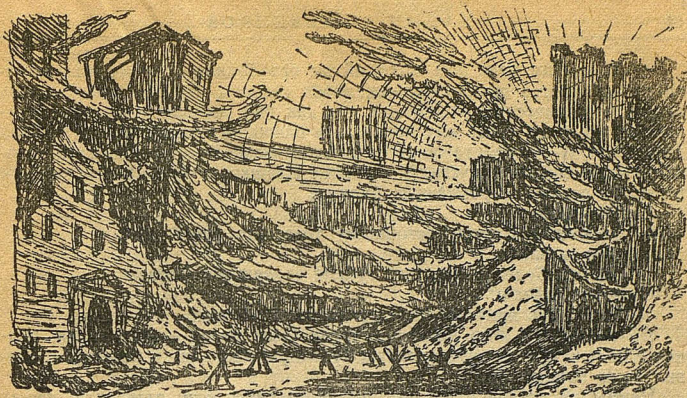
И вперед, на пять прыжков вперед,
И в амбразуру, как в окно, он очередь дает.
И все же лает пулемет, и все ж он не замолк,
И пышет желтым фосфором на человека волк.
«Тогда прощай, Россия-мать, прощай, Россия-мать,
Ведь за тебя, прекрасную, не страшно умирать!
Прощайте, кровные друзья, кто дорог, люб и мил!»
И амбразуру черную он грудью заслонил.
И льется кровь геройская, как алая заря,
И бьют волков богатыри за кровь богатыря!
Не убежишь, щетиня шерсть, нет, врешь, не убежишь,
Нет, вместе с тысячей волков, как падал, полежишь.
А нас, Сухановых, не смять, не выбить, не сломать.
Живи, живи, Россия-мать, цветы, Россия-мать!

КЛЯТВА

Тишина. Призамолкла на час канонада,
Скрыто все этой режущей слух тишиной.
Рядом город бессмертный. За честь Ленинграда
Встали сосны стеной, люди встали стеной!
Тишина непривычной была, непонятной.
Предзакатная. Медленно день умирал.
И тогда вдоль рядов, величавый, как клятва,
С новым воинским знаменем прошагал генерал.
Тишина перед боем. Враг, не жди, не надейся,
Заберет тебя ночи чернее тоска.
Здесь, готовые к битвам, встали гвардейцы,
Молодые, победные наши войска.
Рядом были землянки, блиндажи в пять накатов.
На поляне, в сосновом лесу за Невой,
Обернувшись на запад, на запад, к закату,
Встала гвардия наша в полукруг боевой.
Знамя принял полковник. Снег на знамени — пеной
Бахрому тронул иней. Даль застыла, строга.
И, охваченный трепетом, командир на колено
Опустился в глубокие наши снега.
И «Клянемся!», сказал он. И духом геройства
Вдруг пахнуло на рощи, поля и луга,
И тогда, как один, опустилося войско
На колено в глубокие наши снега.
Тишина. Все в снегу, больше черном, чем белом.
И тогда над холмом, за который деремься,
Над снегами, летящее ввысь, прогремело, —
Прогремело железное слово:

«Клянемся!»





Вадим Голосевников

ДОМ БЕЗ НОМЕРА

Дымящиеся дома сражались, как корабли в морской битве.

Здание, накрытое залпом тяжелых минометов, гибло в такой же агонии, как корабль, кренясь и падая в хаосе обломков.

В этой многодневной битве многие дома были достойны того, чтобы их окрестили гордыми именами, какие носят боевые корабли.

Убитые немцы валялись на чердаке пятье сутки — убрать их было некогда.

Ивашин лежал у станкового пулемета и бил вдоль улицы. Фролов, Селезнев и Савкин стреляли по немецким автоматчикам, засевшим на крышах соседних домов. Тимкин сидел у печной трубы и заряжал пустые диски. Нога Тимкина разбита, поэтому он сидел и заряжал, хотя по-настоящему ему нужно было лежать и кричать от боли.

Другой раненый был не то в забытьи, не то умер.

Сквозь рваную крышу ветер задувал на чердак снег. И тогда Тимкин ползал, собирал снег в котелок, растапливал на крохотном костре и отдавал Ивашину воду для пулемета. От многочисленных пробоин в крыше на чердаке становилось все светлее и светлее.

Штурмовая группа Ивашина захватила этот дом пять суток тому назад удачным и дерзким налетом. Пока шел рукопашный бой в нижнем этаже с расчетом противотанковой пушки, четверо бойцов — двое по пожарной лестнице, двое по водосточным трубам — забрались на чердак и зарезали там немецких автоматчиков. Дом был взят.

Кто воевал, тот знает несравненное чувство победы. Кто испытывал наслаждение этим чувством, тот знает, как оно непомерно.

Ивашин изнемогал от гордости, и он обратился к бойцам и сказал раздельно и громко:

— Товарищи, этот дом, который мы освободили от немецких захватчиков, не просто дом. — Ивашин хотел сказать, что это здание очень важно в тактическом отношении, так как оно господствует над местностью, но такие слова ему показались слишком ничтожными. Он искал других слов — торжественных и возвышенных. И он сказал эти слова. — Этот дом исторический, — сказал Ивашин и обвел восторженным взглядом стены, искромсанные пулями.

Савкин сказал:

— Заявляю — будем достойными того, кто здесь жил.

Фролов сказал:

— Значит, будем держаться зубами за каждый камень.

Селезнев сказал:

— Это очень приятно, что дом такой особенный.

А Тимкин — у него нога еще тогда была целая — наклонился, поднял с пола какую-то раздавленную кухонную посудину и бережно поставил ее на подоконник.

Немцы не хотели отдавать дом. К рассвету они оттеснили наших бойцов на второй этаж, на вторые сутки бой шел на третьем этаже, затем на четвертом, и когда бойцы уже были на чердаке, Ивашин отдал приказ окружить немцев. Четверо бойцов спустились с крыши дома, с четырех его сторон, на землю и ворвались в первый этаж. Ивашин и три бойца взяли сена (на этом сене раньше на чердаке спали немецкие пулеметчики), зажгли его и с пылающими охапками в руках бросились вниз по чердачной лестнице.

Горящие люди вызвали у немцев замешательство. Для того чтобы взорвалась граната, дающая две тысячи осколков, этого достаточно.

Ивашин оставил у немецкой противотанковой пушки Селезнева и Фролова, а сам с двумя бойцами снова вернулся на чердак к станковому пулемету и раненым.

Немецкий танк, укрывшись за углом соседнего дома, стал бить термитными снарядами. На чердаке начался пожар.

Ивашин приказал снести раненых сначала на четвертый этаж, потом на третий. Но с третьего этажа им пришлось тоже уйти, потому что под ногами стали проваливаться прогоревшие половицы.

В нижнем этаже Селезнев и Фролов, выкатив оружие к дверям, били по танку. Танк после каждого выстрела укрывался за углом дома, и попасть в него было трудно. Тогда Тимкин, который стоял у окна на одной ноге и стрелял из автомата, прекратил стрельбу, сел на пол и сказал, что он больше терпеть не может и сейчас поползет и взорвет танк.

Ивашин сказал ему:

— Если ты ошалел от боли, так нам от тебя этого не нужно.

— Нет, я вовсе не ошалел, — сказал Тимкин, — просто мне обидно, как он, сволочь, из-за угла бьет.

— Ну, тогда другое дело, — согласился Ивашин. — Тогда я не возражаю, иди.

— Мне ходить не на чем, — поправил его Тимкин.

— Я знаю, — сказал Ивашин, — ты не сердись, я обмолвился, — и он пошел в угол, где лежали тяжелые противотанковые гранаты. Выбрал одну, вернулся, но не отдал ее Тимкину, а стал усердно протирать платком.

— Ты не тяни, — Тимкин держал руку протянутой. — Может, ты к ней еще бантик привязать хочешь?

Ивашин переложил гранату из левой руки в правую и сказал:

— Нет, уж лучше я сам.

— Как хочешь, — сказал Тимкин, — только мне стоять на одной ноге гораздо больнее.

— А ты лежи.

— Я бы лег, но когда под ухом стеляют, мне это на нервы действует. — И Тимкин осторожно вынул из руки Ивашина тяжелую гранату.

— Я тебя хоть до дверей донесу.

— Опускай, — сказал Тимкин, — теперь я сам, — и удивленно спросил: — Ты зачем меня целуешь? Что я, баба или покойник? — И уже со двора крикнул: — Вы тут без меня консервы не сожрите. Если угощения не будет, я не вернусь.

Магниева вспышка орудия танка осветила снег, розовый от отблесков пламени, и скорченную фигуру человека, распластанную на снегу.

Потолок сотрясаясь от ударов падающих где-то наверху прогоревших бревен. Невидимый в темноте дым ел глаза, ядовитой горечью проникал в ноздри, в рот, в легкие.

На перилах лестницы показался огонь. Он сползал вниз, как кошка.

Ивашин подошел к Селезневу.

— Чуть выше бери, в башню примерно, чтобы его не задеть.

— Ясно, — сказал Селезнев. Потом, не отрываясь от панорамы, добавил: — Мне плакать хочется: какой парень! Какие он тут высокие слова говорил!

— Плакать сейчас те будут, — проговорил Ивашин, — он им даст сейчас духу.

Трудно сказать, с каким звуком разрывается снаряд, если он разрывается в двух шагах от тебя. Падая, Ивашин ощутил, что голова его лопается от звука, а потом от удара, и все залилось красным отчаянным светом боли.

Снаряд из танка ударил под ствол пушки, отбросил ее, опрокинутый ствол пробил перегородку. Из разбитого амортизационного устройства вытекло масло и тотчас загорелось.

Селезнев, хватаясь за стену, встал, потом он пробовал поднять раненую руку правой рукой, потом он подошел к стоящему на полу фикусу, выдрал его из горшка и комлем, облепленным землей, начал сбивать пламя с горящего масла. Ивашин сидел на полу, держась руками за голову, и раскачивался. И вдруг встал и, шатаясь, направился к выходу.

— Куда? — спросил Селезнев.

— Пить, — сказал Ивашин.

Селезнев поднял половицу, высунул ее в окно, зачерпнул снега.

— Ешь.

Но Ивашин не стал есть, он нашел шапку, положил в нее снег и после этого надел себе на голову.

— Сними, — сказал Селезнев. — Голову простудишь. Дураком на всю жизнь от этого стать можно.

— Взрыв был?

Селезнев, держа в зубах конец бинта, обматывал им свою руку и не отвечал. Потом, кончив перевязку, он сказал:

— Вы мне в гранату капсулю заложите, а то я не управлюсь с одной рукой.

— Подорвал он танк? — снова спросил Ивашин.

— Я ничего не слышу, — ответил Селезнев. — У меня из уха кровь течет.

— Я как пьяный, — сказал Ивашин, — меня сейчас тошнить будет, — и сел на пол. И когда он поднял голову, он увидел рядом лицо Тимкина и не удивился, а только спросил: — Жив?

— Жив. Если я немного полежу, ничего будет?

— Ничего, — сказал Ивашин и попытался встать.

Селезнев положил автомат на подоконник и, сидя на корточках, стрелял. И короткий ствол автомата дробно стучал по подоконнику при каждой очереди, потому что Селезнев держал автомат одной рукой, но потом он оперся диском о край подоконника, и автомат перестал прыгать.

Ивашин взял Селезнева за плечо и крикнул в ухо:

— Ты меня слышишь?

Селезнев кивнул головой.

— Иди к раненым, — сказал Ивашин.

— Я же не умею за ними ухаживать.

— Иди, — сказал Ивашин.

— Да они все равно без памяти.

Ивашин приказал Фролову сложить мебель, дерево, какое есть, к окнам и к двери дома.

— Разве такой баррикадой от них прикроешься? — удивился Фролов.

— Действуйте, — сказал Ивашин, — выполняйте приказание.

Когда баррикада была готова, Ивашин взял бутылку с зажигательной смесью и хотел разбить ее об угол лежащего шкапа. Но Фролов удержал его:

— Бутылку жалко. Разрешите, я ватничком, я его в масле намочу.

Когда баррикада загорелась, к Ивашину подошел Савкин.

— Товарищ командир, извините за малодушие, но я так не могу. Разрешите, я лучше на них кинусь.

— Что вы не можете? — спросил Ивашин.

— А вот, — Савкин кивнул на пламя.

— Да что мы, староверы, что ли? Я людям передохнуть дать хочу. Немцы увидят огонь, утихнут, — рассердившись, громко сказал Ивашин.

— Так вы для обмана? — сказал Савкин и рассмеялся.

— Для обмана, — сказал Ивашин глухо.

А дышать было нечем. Шинели стали горячими, и от них воняло паленой шерстью. Пламя загибалось и лизало стены дома, высунувшись с первого этажа. И когда налетали порывы ветра, куски огня уносило в темноту, как красные тряпки. Немцы были уверены, что с защитниками дома покончено. Немцы расположились за каменным фундаментом железной решетки, окружавшей здание.

И вдруг из окон дома, разрывая колеблющийся занавес огня, выскочили четыре человека и бросились на немцев. Фролов догнал одного у самой калитки и стукнул его по голове бутылкой. Пылая, немец бежал, но скоро он упал. А Фролов лег на снег и стал кататься по нему, чтобы погасить попадание на его одежду брызги горючей жидкости.

Лежа у немецкого пулемета, Савкин сказал Ивашину:

— Мне, видать, в мозги копать набилась, такая голова дурная!

— В мозг копать попасть не может, это ты глупости говоришь.

На улицу выполз Селезнев, поддерживая здоровой рукой Тимкина.

— Ты зачем его привел? — крикнул через плечо Ивашин.

— Он уже поправился, — сказал Селезнев, — он у меня за второго номера сойдет. Нам все равно лежать, а на вольном воздухе лучше.

И снова под натиском немцев защитники дома вынуждены были



Потолок сотрясаясь от ударов падающих где-то наверху прогоревших бревен.

уйти в выгоревшее здание. На месте пола зияла яма, полная золы и теплых обломков. Бойцы стали у оконных амбразур на горячие железные двутавровые балки и продолжали вести огонь.

Шли шестые сутки боя. И когда Савкин сказал жалобно, ни к кому не обращаясь: «Я не раненый, но я помру сейчас, если засну», никто не удивился таким словам — слишком истощены были силы людей.

И когда Тимкин сказал: «Я раненый, у меня нога болит, и спать я вовсе не могу», тоже никто не удивился. Селезнев, которому было очень холодно, потому что он потерял много крови, сказал, стуча зубами:

— В этом доме отопление хорошее. Голландское. В нем тепло было.

— Мало ли что здесь было, — сказал Фролов.

— Раз дом исторический, его все равно восстановят, — сердито проговорил Савкин. — Пожар никакого значения не имеет, были бы стены целы.

— А ты спи, — сказал Тимкин, — а то еще помрешь. А исторический или какой — держись согласно приказа, и точка.

— Правильно, — сказал Ивашин.

— А я приказ не обсуждаю, — сказал Савкин. — Я говорю просто, что приятно, раз дом особенный.

Четыре раза немцы пытались вышибить защитников дома и четыре раза откатывались назад.

Последний раз немцам удалось ворваться внутрь. Их били в темноте кирпичами. Не видя вспышек выстрелов, немцы не знали, куда стрелять. И когда немцы выскочили наружу, в окне встал черный человек и, держа в одной руке автомат, стрелял из него, как из пистолета, одиночными выстрелами. И когда он упал, на место его поднялся другой черный человек. И этот человек стоял на одной ноге, опираясь рукой о карниз, и тоже стрелял из автомата, как из пистолета, держа его в одной руке.

Только с рассветом наши части заняли заречную часть города.

Шел густой, мягкий, почти теплый снег. С ласковой нежностью снег ложился на черные покалеченные здания.

На улице прошли танки. На броне их сидели десантники в маскахалатах, похожие на белых медведей. Потом пробежали пулеметчики. Бойцы тащили за собой саночки, маленькие, нарядные. И пулеметы на них были прикрыты белыми простынями. Потом шли тягачи, и орудия, которые они тащили за собой, качали длинными стволами, словно кланяясь этим домам.

А на каменном фундаменте железной решетки, окружавшей обгоревшее здание, сидели три бойца. Они были в черной изорванной одежде, лица их были измождены, глаза закрыты, головы запрокинуты. Они спали. Двое других лежали прямо на снегу, и глаза их были открыты, и в глазах стояла боль.

Когда показалась санитарная машина, боец, лежавший на снегу, потянул за ногу одного из тех, кто сидел и спал. Спящий проснулся и колеблющейся походкой пошел на дорогу, поднял руку, остановил машину. Машина подъехала к забору. Санитары положили на носилки сначала тех, кто лежал на снегу, потом стали укладывать тех, кто сидел у забора с запрокинутыми головами и с глазами, крепко закрытыми. Но Ивашин — это он останавливал машину — сказал санитару:

— Этих двух не трогайте.

— Почему? — спросил санитар.

— Они целые. Они притомились, им спать хочется.

Ивашин взял у санитара три папиросы. Одну он закурил сам, а две оставшиеся вложил в вялые губы спящих. Потом, повернувшись к шоферу санитарной машины, он сказал:

— Ты аккуратнее вези — это знаешь какие люди!

— Понятно, — сказал шофер. Потом он кивнул на дом, подмигнул и спросил: — С этого дома?

— Точно.

— Так мы о вас очень уже наслышаны. Приятно познакомиться.

— Ладно, — сказал Ивашин. — Ты давай не задерживай.

Ивашин долго расталкивал спящих. Савкину он даже тер уши снегом. Но Савкин все норовил вырваться из его рук и улечься здесь, прямо у забора.

Потом они шли, и падал белый снег, и они проходили мимо зданий, таких же опаленных, как и тот дом, который они защищали. И многие из этих домов были достойны того, чтобы их окрестили гордыми именами, какие носят боевые корабли, например «Слава», «Дерзость», «Отвага», или — чем плохо? — «Гавриил Тимкин», «Игнатий Ивашин», «Георгий Савкин». Это ведь тоже гордые имена. Что же касается Савкина, то он, увидев женщину в мужской шапке, с тяжелым узлом в руках, подошел к ней и, стараясь быть вежливым, спросил:

— Будьте любезны, гражданочка. Вы местная?

— Местная, — ответила женщина, глядя на Савкина восторженными глазами.

— Разрешите узнать, кто в этом доме жил? — И Савкин показал на дом, который они защищали.

— Жильцы жили, — сказала женщина.

— Именно? — спросил Савкин.

— Обыкновенные русские люди.

— А дом старинный, — жалобно сказал Савкин.

— Если бы старинный, тогда не жалко, — сокрушенно сказала женщина. — Совсем недавно, перед войной, построили, такой прекрасный дом был. — И вдруг, бросив на землю узел, она выпрямилась и смятенно запричитала: — Да, товарищ дорогой, да что же я с тобой про какое-то помещение разговариваю, да дай я тебя обниму, родной ты мой!

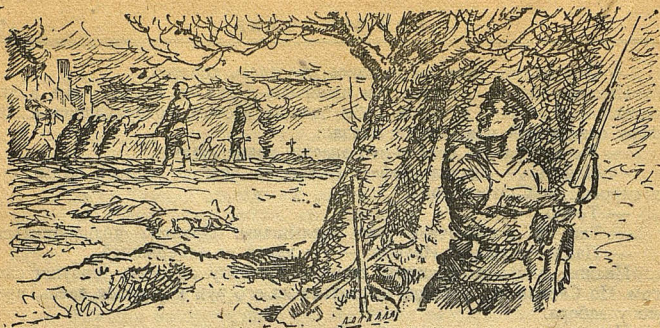
Когда Савкин догнал товарищей, Ивашин спросил его:

— Ты что, знакомую встретил?

— Нет, так, справку наводил...

Падал снег, густой, почти теплый, и всем троим очень хотелось лечь в этот пушистый снег — спать, спать... Но они шли, шли туда, на окраину города, где еще сухо стучали пулеметы и мерно и глухо вздыхали орудия.





Михаил Исаковский

ЛЕГЕНДА

Сказывают, где-то под Смоленском
Вырос этот парень молодой.
Мирно жил он в хате деревенской,
И носил он шапку со звездой.

Был он по занятию садовник:
Поливал, окапывал, растил,
Разводил клубнику и крыжовник,
Яблони и груши разводил.

День за днем ни времени, ни силы
Не жалел для дела своего,
И земля садовника любила,
И любили девушки его.

Так и жил он, честно и открыто,
И не чуял никакой беды.
Грело солнце. Наливалось жито,
И в садах румянились плоды.

Все шумело, красовалось, пело...
Только все-таки беда пришла:
Душегубов злоба ододела,
Зависть несусветная взяла.

Затрубили черные их трубы,
Зазвучала их собачья речь.
Двинулись войною душегубы —
Резать, бить, насиловать и жечь.

Вольный край хотели заневолить,
Завладеть и небом и землей,

Весь народ навеки обездолить,
Задушить железною петлей.

И не стало от руки разбойной
Никакой пощады никому...
Ой, как больно, нестерпимо больно
Сделалось садовнику тому!

Край родной — с пригорками, с лесами,
Может, самый лучший на земле, —
День и ночь стоял перед глазами,
Весь в крови, в развалинах, в золе.

От всего живого отгорожен,
Позабыл он и тепло и свет.
А весна притти туда не может,
А весне туда дороги нет.

Май настал, а солнце не прогреет,
А земля, как мертвая, пуста;
И трава на ней не зеленеет,
И деревья не дают листа.

Сохнут люди в подземелье, в яме,
Холодают, голодают, мрут.
И глядят печальными глазами,
Как девчат на каторгу ведут.

Плач и стон стоит по всей округе,
Кладбища — за каждою верстой...
Взял садовник, взял винтовку в руки,
И надел он шапку со звездой.

И, свою деревню покидая,
Пал на землю в полуночный час:
«Отзовися, мать-земля сырая,
Дай мне, сыну твоему, наказ!

Я готов, и что б со мной ни стало,
Будет все по слову твоему...»
Что в ту ночь земля ему сказала —
Это неизвестно никому.

И одно лишь, говорят, известно,
Лишь одно проверено вполне:
Что с тех пор не находили места
Душегубы в этой стороне;

Что повсюду гибель им грозила,
Где б они ни стали на постой,
Что дана была такая сила
Человеку в шапке со звездой.

И когда он выстрелил впервые
После этой ночи по врагу,

Распустила лепестки живые
Первая ромашка на лугу.

А когда он уложил второго
Из своей винтовки боевой,
Белая береза над дорогой
Вдруг покрылась вешнею листвою.

И с тех пор, лишь пуля попадает
В крест паучий, в проклятую грудь,
Что-нибудь растет и зацветает,
Тотчас оживает что-нибудь.

Вот уже зазеленели всходы,
Вот побеги яблоня дала,
Вот уже отправилась за медом
В рощу басовитая пчела.

Разошлись туманы над водою,
Где-то песню девушка поет...
Человеку в шапке со звездой
Вся земля свой голос подает.

Вся земля встречает, словно праздник,
Воина-любимца своего...
На Дону, под Курском и под Вязьмой,
Сказывают, видели его.

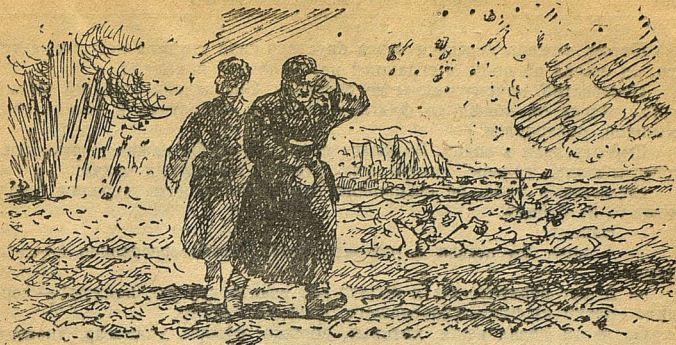
Сказывают, всюду, повсеместно
Он разил врага наверняка...
Где теперь он — это неизвестно,
Это засекречено пока.

Но покамест он не уничтожит
Душегубов, палачей, гадюк,
Ни за что оружия не сложит,
Ни за что не выпустит из рук.

Он пришел и в Киев и в Полтаву,
Он прошел за Днепр и за Десну, —
В каждый дом и в каждую дубраву
Он приносит солнце и весну.

Час настанет, и враги заплачут
Смертною, последнею слезой...
Пожелаем же, друзья, удачи
Человеку в шапке со звездой!





Конст. Симонов

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

Комиссар считал, что смелых убивают реже, чем трусов. Это было его твердое убеждение. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если человек выдерживал испытание, то вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир снова называл свою фамилию.

— А моя — Корнев, — говорил тогда комиссар, протягивая руку, — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов.

Первый струсил и в тяжелую минуту вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Второй адъютант был ранен навывлет в грудь во время атаки. Осеннее солнце резало глаза. Было холодно и нестерпимо сухо. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно старался разглядеть, пустая она или полная.

Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно, почему немцы не стреляли. Они начали стрелять только тогда, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав подмышкой, повернулся.

Ему стреляли в спину. Во флягу попала пуля. Он зажал дырку пальцами и пошел дальше, теперь неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напайте!

— А вдруг бы дошли, а она — пустая?.. — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, вообще говоря, комиссар дивизии делать был не обязан. Но вспоминал об этом всегда только потом, уже сделав. Тогда он сердился и на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке.

Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона.

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.

— Дотемна он умрет, — и комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

Может быть, это было безрассудно, но, когда командир батальона спросил: «Кто понесет?», люди, видевшие, как комиссар ходил за флягой, сказали: «Я!» Они не могли этого не сказать — видеть и не сказать.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не падая, не забывая, что они несут раненого, и именно поэтому он верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга со своей обычной торопливостью.

Ему, по его характеру, казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И, когда хирург ответил ему, что его адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и близко придвинув к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер! Зачем же они его несли?

О том, что люди, кроме того, ходили под огнем за водой, он промолчал. Промолчал не из скромности, а просто потому, что уже успел забыть об этом.

Хирург пожал плечами.

— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен! — сердито повторил он. — Плохо работаете.

И, не противясь, вышел к машине. Синие пятна фар скользнули по черным стволам кипарисов. Машина свернула влево и скрылась.

Хирург смотрел вслед. Конечно, комиссар был неправ. Может быть, даже, логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки было в его словах, в сердитом и грустном голосе что-то такое сильное и убеждающее, что хирургу на минуту показалось, что, действительно, смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это потому, что он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему казалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович, — вдруг сказал он как о чем-то уже давно решенном своему вышедшему на крыльцо покурить помощнику, — надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. За окнами шел мелкий дождь со снежной крупой. Начиналась осенняя непогода. Комиссар был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. Впрочем, это он делал не просто так — в этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая его, он никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, они лучше думают — это было его глубокое убеждение. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно главное, а об остальном тот догадывался бы сам. Именно таким образом он добивался, чтобы в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Он не мог быть все время с каждым, но, побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому, опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает; может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы вспоминать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И он, должно быть оттого, что, несмотря на эти рассуждения, ему было все-таки грустно, как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький светловолосый и голубоглазый парень, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он

шел вплотную, рядом, потому что таков был, по его понятиям, долг адъютанта, и еще потому, что этот большой, грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым. Казалось, что если итти совсем рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо, — нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь от земли.

— Вот видите, — сказал он на ходу, показывая на маленькую воронку сзади, — если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрее вперед итти — тогда ни за что не попадет.

— Ну, а если бы мы еще быстрее шли, так... — и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного, — сказал комиссар. — Они же по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили, и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улынулся: комиссар, конечно, шутил! Но вдруг он увидел, что лицо комиссара совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вдруг вера в этого человека, вера, остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром — совсем тесно, локоть в локоть; теперь он окончательно знал, что ни этого человека, ни того, кто идет рядом с ним, убить нельзя.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми. На виноградниках ржавел и гнил неубранный виноград. Опустевшие поля были изрыты окопами.

Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал на железной печке, поближе к огню, свои мокрые, забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром было тяжело, очевидно смертельно, ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он прерванный, видимо, разговор, — ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком, как по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар. И, по своей вечной привычке, отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, он выживет. Но ведь Миронов не выжил, и Заводчиков не

выжил, и Гавриленко не выжил. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теорий, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароят, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, — хорошая теория. А все остальные плохи. Между прочим, мне она тоже помогает не бояться, — вдруг улыбнулся комиссар. — Ведь, между нами говоря, как хотите, а иногда и нам с вами страшно бывает.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке. Только ранен командир роты старший лейтенант Поляков.

— Кто вместо него? — спросил комиссар.

— Лейтенант Васильев из третьего взвода.

— А кто в третьем взводе?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.

— По правде говоря, сильно.

— Выпейте.

Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно, — сказал комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте!

Адъютант встал. Он застегивал крючки шинели тем особым медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, он больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами. — Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят — что я. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да, — сказал он. — И вообще я не верю, что кто-то умирает. Мне всегда кажется, что где-то есть кто-то другой, который придет на место мертвого и будет не хуже его, и поэтому я верю, что мы победим, потому что раз действительно так, то иначе и не может быть.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю большую начерченную на ней оскверненную врагом землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Он переправлялся туда через лиман на утлой лодке. Дул северный ветер, и седые барашки с треском колотились о днище. Потом он не любил вспоминать об этом

дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовой третий взвод — весь, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось сделать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку. Тронутый первыми заморозками песок был взрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Пытавшиеся добраться до своего берега вплавь потонули.

Передав кому-то уже ненужную винтовку с окровавленным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы третьего взвода. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал и струсил, валялись на открытом поле, в мерзлой зимней степи. Они бежали, и здесь их настигли пули. Они лежали, раскинув руки, лицом на восток, спиной к врагу. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица. Для него и после смерти эти люди все равно делились на трусов и храбрых. В позе мертвого он угадывал, как тот вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с мертвым трусом. Он не мог простить трусости и после смерти. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди, на гимнастерке, запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним. Потом, подозвав одного из бывших рядом командиров, приказал приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана — пулевая или штыковая.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько раны и боль, сколько самый факт, что он был ранен — он, которого считали в дивизии неуязвимым, он, веря в неуязвимость которого, люди легче и безбоязненней шли в бой. Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая, — сказал он, подняв голову к комиссару, и снова согнулся над адъютантом. Согнулся и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, лицо его было удивленным.

— Еще дышит, — сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого оказавшегося живым человека. Он лежал

здесь, далеко позади окопов, он, наверно, бежал. И все-таки — нет, не может быть! Он очень редко ошибался в людях.

— Двое, сюда! — вдруг резко приказал он. — На руки — и быстрее до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И, повернувшись, он пошел дальше по полю.

«Выживет или нет?» — этот вопрос у него путался с другим: как адъютант вел себя в бою, почему оказался сзади всех в поле, и невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро, значит выживет, непременно выживет.

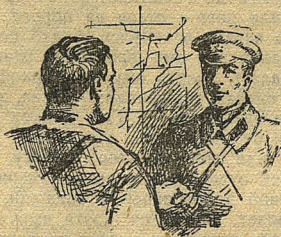
И, должно быть, поэтому, когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый, голубоглазый и похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул для пожатия левую, здоровую руку.

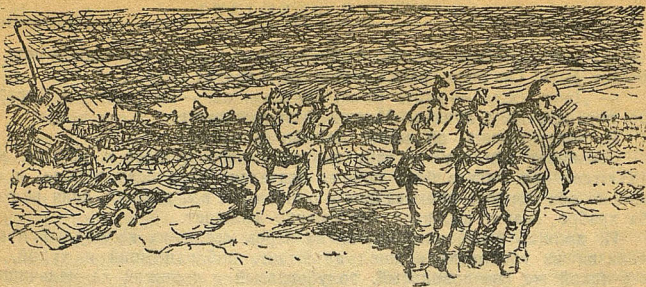
— А я ведь тогда и не дошел до третьего взвода, — после первых слов приветствия сказал адъютант, — застрял на переправе, еще сто шагов оставалось, когда...

— Знаю, — прервал его комиссар, — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец. Рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою все еще перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц заживает, а у него третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой. Хотя, впрочем, что ж, ничего, говорят, получается...





Илья Френкель

БАЛЛАДА О ДРУЖБЕ

Как дружков-товарищей с одного забоя,
Очень сильно раненных, вынесли из боя.
Одного товарища смерть взяла в дороге,
За другим до госпиталя волочила ноги,
Волочила ноги — стала на пороге...
Ночью парень вскинулся, будто по тревоге;
Показался пол ему фронтовой равниной,
Показалась смерть ему санитаркой Ниной.
Он у смерти спрашивал: — Нина, что в Донбассе? —
И еще выпытывал: — Где дружок мой Вася? —
А она, безглазая, так отозвалась:
— Ты иди сюда, шахтер, покажу, где Вася... —
Человек отчаянный, силы непомерной,
Коренной донбассовец и товарищ верный,
Он ползет, торопится, друга выручает.
Он зовет товарища — друг не отвечает.
Вот уже рукой подать парню до порога.
— Вася, — шепчет он, — родной, поддержишь немного.
Вася, — шепчет он, — родной, тут я, недалеко, —
Нам еще с тобой рубать Вася, уголочка... —
Парень перевязанный, кровью перемазанный,
Он ползет, торопится, сердце в нем колотится,
А ползет, не думает он, что умирает,
А в ушах военная музыка играет,
Крик трубы серебряной в сердце отдается.
Слышит он, вытягиваясь, голос полководца:
— Пользу для отечества ты принес немалую,
Я тебя за подвиги вечной жизнью жалую,

Твоим честным именем называю шахту —
Как придешь ты в Сталино, становись на вахту... —
Мертвыми губами отвечает воин:
— Я, товарищ Сталин, не один достоин...
Мы, товарищ Сталин,
Вместе с Васькой станем... —
И ответил полководец доблестному воину:
— Становитесь вместе. Ладно, сделаем по-твоему...

ДАВАЙ ЗАКУРИМ!

Теплый ветер дует. Развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, —
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь,
Когда-нибудь
Мы будем говорить.
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя — за то,
Что дал мне закурить...
Давай закурим
По одной!
Давай закурим,
Товарищ мой!..

Снова нас Одесса встретит как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять,
Славную Каховку, город Николаев, —
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь,
Когда-нибудь
Мы будем говорить.
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя — за то,
Что дал мне закурить...
Давай закурим
По одной!
Давай закурим,
Товарищ мой!..

А когда не будет немцев и в помине
И к своим любимым мы придем опять,

Вспомним, как на запад шли по Украине, —
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь,
Когда-нибудь
Мы будем говорить.
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя — за то,
Что дал мне закурить...
Давай закурим
По одной!
Давай закурим,
Товарищ мой!..

ЦВЕТОЧЕК

По донецким перевалам
Эхо выстрелов несло.
Солнце жарко припекало,
Зеленел крутой откос.

Там снаряды разрывались,
Там сверкали два штыка —
Там сражались, там держались
Два гвардейца, два стрелка.

Расстрелял свои патроны
Молодой боец-стрелок,
Поискал вокруг рукою,
Оборвал в траве цветок.

Под огнем цветок родился,
Он в бою кровавом рос,
Возле самого цветочка
Десять мин разорвалось.

Ты, цветочек-стебелечек,
Пули свищут над тобой,

Из огня ты не выходишь,
Василечек голубой...

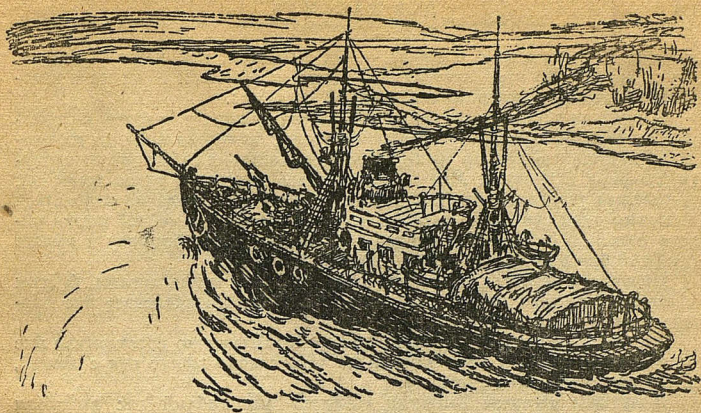
Ты увянь, увянь, цветочек,
Безо времени в бою,
Лишь бы немцы не сгубили
Красоту, цветок, твою...

Взял гвардеец василечек
И зажал его в ладонь,
Заряжал свою гранату,
Сам скомандовал: «Огонь!»

Подымались два героя
В бой жестокий штыковой —
В бой последний, в бой победный
За любимый край родной.

Так сражались два гвардейца,
Выполняли честно долг.
Всюду травы зацветали,
Где прошел гвардейский полк.





Лев Кассиль

ВДОВА КОРАБЛЯ

Шаль эту мы выбирали вместе: боцман и я. Накануне Трофим Егорович Штыренко пришел в мою каюту, помялся немного, спросил, чтобы соблюсти приличие, не засоряется ли у меня умывальник, отвернул кран, пустил воду, убедился, что все исправно, а потом, как бы собираясь уходить, смущенно обмывая на себе робу, проговорил:

— Вы не будете такие добрые, что завтра сходите со мной до города. Хочу присмотреть гостинец для жинки. Шаль там какую иль, мабуть, одеяло и прочее. В целом сказать, чтобы была память за Испанию.

Я согласился.

— Ну, спасибо, — обрадовался он. — А то я сам никогда бабьего вкуса не понимаю, что им такое требуется. А вы, как помоложе, то, конечно, в этом деле еще разбираетесь. Так будьте добрые, найдите времечко.

Наш теплоход «Менделеев» стоял под выгрузкой близ Валенсии. В Испании шла война. Далеко, дома, за семью морями отсюда, тревожились за нас жены. Рейс был опасный.

Из Батуми мы ушли ночью, нас никто не провожал. Со всеми простились еще с вечера. Я слышал, как в конторе порта наш старый боцман гудел в телефон, прикрыв рожок трубки своими сивыми обвисшими усами:

— Ну, счастливо, Феня, бывай здоровенька. Не сумлевайся, все в порядке будет... Феня... Фе-э-эня!.. Ты слухай!..

Он вздохнул, покосился на меня, совсем зарылся усами в трубку.

— Главное, зря не сумлевайся. Вполне обыкновенный рейс. К сроку будем... Здоровье береги, Феничка. Деньги в конторе двенадцатого по-

лучишь. Ну, счастливо, Феничка. — Он медленно, как допитый стакан, отнял трубку ото рта, бережно повесил ее на рычажок аппарата и клетчатый платком, купленным в Стамбуле, отер усы.

Я никогда не видел его жены, но по той нежности, с какой он говорил о своей Фене, и по осторожным шуткам, которыми команда намекала на запоздалую любовь нашего боцмана, составил себе портрет супруги Трофима Егоровича. Мне представлялась маленькая тихая женщина, привыкшая терпеливо сносить долгую разлуку и благодарно радоваться недолгим дням свиданий, которые не так-то часты в семейной жизни моряка дальнего плавания. Я охотно согласился помочь боцману и вместе с ним выбрать гостинец, чтобы угодить его Фене.

Ночью нас бомбили. Пароход, стоявший под мексиканским флагом у стенки, недалеко от нас, загорелся. У нас на «Менделееве» все обошлось без происшествий...

Утром, пока мы шли от порта до города, Штыренко рассказывал мне о том, как хорошо у него дома, и до чего славно живут они с женой, и как она обрадуется гостинцу.

В лучшем магазине Валенсии «Ольтра» мы добрый час выбирали подарок для Фени. Увидев на моей фуражке золотого краба с красным флагом — герб Совторгфлота — и узнав, что мы «маринос дель барко руссо» — моряки советского корабля, продавцы радушно выложили перед нами самые лучшие товары. Для нас расстилали на прилавках знаменитые валенсийские одеяла. Розы, тореадоры и пляшущие девушки были изображены на них. Они были легки, эти одеяла, и так пушисты, что края, казалось, истаивают в воздух. Но выяснилось, что у жены боцмана уже есть хорошее одеяло. И, кроме того, Трофим Егорович хотел привезти своей Фене такой гостинец, чтобы она могла в нем покрасоваться перед людьми.

— Только что-нибудь такое поглаже. Да чтобы в глаза очень не шибало, — объяснил мне Штыренко. — А то не наденет, она у меня тихая, в целом сказать. Да и годы ее уж под смиренный цвет подходят. Вот что-нибудь такое.

И после долгих взыскательных поисков мы наконец выбрали шаль. Как вам описать эту шаль?.. Вот если бы снег был черным и из черных микроскопических звездочек-снежинок, одна к другой, было бы сплетено кружево, вот тогда бы, может быть, получилась шаль, которую мы выбрали с Трофимом Егоровичем в магазине «Ольтра». Она казалась сыпучей, готовой развеяться от дуновения ветра и осесть черным ином на прилавке. Продавец расправил шаль, взмахнул ею, как матадор плащом, и над нами пронеслась легкая тень, вся в блесках, вся прохваченная насквозь мерцающим светом... Потом скомкал ее, взял боцмана за руку, снял с его твердого пальца медное обручальное кольцо и пропустил через него всю шаль. Пушистое кружево прошло сквозь узкий ободок, как черный песок через воронку песочных часов.

Эту шаль мы и выбрали для жены Трофима Егоровича. Боцман для каждого с великой охотой распаковывал сверток, и перед глазами матросов, механиков, мотористов, электриков взлетала сыпучая чернотезд-ная тень кружевной испанской шали. А вечером сменившийся с вахты моторист Валахов, настроив гитару, пел нам, вздыхая и подмигивая боцману:

Смотрю, как безумный, на черную шаль,
И холодную душу терзает печаль...

Трофим Егорович, довольный и сконфуженный, топоришил усы.

Что было с нами на обратном пути, вы, вероятно, помните, если читали газеты.

Мы возвращались домой и уже прошли мыс Матайян. Справа оставался греческий остров Кифера. По голым каменистым склонам берега бродили скучные овцы. Как всегда, когда корабль проходил это место, Штыренко, убежденно гудя в усы, рассказывал, что греческие пастухи тут своим овцам зеленые очки нацепляют, чтобы они лишай и всякую там дрянь за траву считали. До того это бедная местность...

Так разговаривали мы, сидя на палубе за камбузом. Валахов лениво нащупывал какую-то мелодию на гитаре. Солнце уже садилось за Матапан... И в это время вахтенный затопал над нами, скатился вниз с мостика и спросил, где капитан. Вид у него был такой, что мы сразу все вскочили и кинулись к борту. Пока я старался рассмотреть, что происходит на море, глазастый Штыренко, все поняв с одного взгляда, негромко и озабоченно пробасил:

— Подводная лодка на нас идет... Как в газетах пишут, неизвестной национальности, но по всей ясной видимости, что сволочь... А ну, хлопцы, в целом сказать, давай по местам! Живенько, моментом!

Навстречу нам от архипелага, буравя волны, оставляя пенный след, несло узкое, злое и горбатое тело подводной лодки. Она мчалась прямехонько на нас. Нас уже предупреждали по радио о том, что в этих водах шныряют таинственные подлодки, топя мирные суда, идущие в Испанию или возвращающиеся оттуда. И мы поняли, что нам предстоит.

Сигналами нам приказали остановиться и дали десять минут на то, чтобы спустить шлюпки и оставить судно. Для большей убедительности и чтобы поторопить нас, с лодки выстрелили из орудия, и снаряд проверещал над нашими мачтами.

— Паразиты, чтоб им якорем печонки повыскребло! — пробормотал Штыренко.

По приказанию капитана, он распоряжался посадкой на шлюпки. Все уже спустились, матросы, стоя на взлетающих шлюпках, отталкивались веслами от борта корабля. На палубе оставался лишь боцман. Он хозяйственно связывал мешки с провизией, принес хлеб, опять побежал куда-то. В эту минуту, без предупреждения, лодка пустила торпеду. На шлюпках заметили ее и стали быстро отгребать в сторону.

— Штыренко, прыгайте! — приказал капитан.

И боцман понял, в чем дело. Он вскочил на планшир и бросился в воду. Но вместо обычного всплеска косматый столб воды, пронзенный огнем, ревя, встал под самым бортом «Менделеева». Корабль стал оседать на корму. Мы увидели среди обломков на воде, по которой расплывались бронзовые круги нефти, голову Штыренко.

Обе шлюпки разом повернули к нему до того, как прозвучала команда. Люди не думали о губительном водовороте, в который неминуемо втянет шлюпки, если они окажутся близко от гибнущего судна. Штыренко вытащили на шлюпку, где был капитан. Боцман был тяжело ранен. Когда стали стаскивать с него робу, чтобы сделать перевязку, он застонал, прикусив обвисший седой ус, и тихо предупредил:

— Полегче, хлопцы, кровью не замарайте, — и стал тащить из просторного кармана робы мокрую черную шаль.

Часа через три мы добрались до острова Кифера. И там, на берегу, мы похоронили нашего боцмана. Перед самой смертью он взял меня за

рукав, тихонько притянул к себе, чтобы я нагнулся, и жесткие усы его укололи мне ухо.

— Шаль ту... Фене передашь... Ребята адрес скажут. Передашь? Цвет правильный пришелся... по форме... к случаю... Нехай носит по мне...

На могиле боцмана мы сложили памятник из камня, укрепили обломки матчы «Менделеева» и привязали к ней спасательный круг с нашего корабля.

Мне не удалось самому вручить шаль вдове Штыренко. После возвращения на родину меня сразу вызвали в Москву. Моторист Валахов отвез вдове нашего боцмана шаль вместе с моим письмом.

Года через три я попал в Новороссийск. Дела привели меня в порт. И там, на берегу, когда я уже собирался уезжать, до моего слуха долетели слова, заставившие меня вернуться.

— «Штыренко» еще не приходил? — спросил кто-то у человека в морской форменке, стоявшего у ворот порта.

— «Штыренко» с утра должен был притти, — отвечал тот равнодушно. — Только это вам не железная дорога, гражданин. На море всяко бывает. Через час, полагаю, будет.

«Штыренко» пришел через три часа. Это было маленькое парусно-моторное судно, двухмачтовое, не очень опрятное, видимо запущенное. Но когда я увидел на спасательных кругах надпись «Штыренко», я ощутил волнение, которое должен был испытать Маяковский, впервые увидев «Теодора Нетте» уже не человеком, а пароходом.

«Здравствуй, Трофим Егорович, — хотелось крикнуть мне. — Как я рад, что ты живой — дымной жизнью труб, смолистым духом канатов и крюков...»

И, когда загудел на корабелике тифон, мне показалось, что это наш боцман своим знакомым гудящим баском стал звать жену: «Фе-э-э-эня!»

— Прибыл-таки наконец, — услышал я позади себя женский голос, грудной и сердитый.

Я обернулся. За мной стояла высокая, дородная женщина. Упершись в бок крепкими узловатыми руками, она смотрела на подходящий кораблик строгим, неодобряющим взглядом. На могучие плечи ее была накинута черная кружевная шаль, которую я узнал с первого взгляда. Я хотел заговорить с женщиной, но она промчалась мимо меня, в развевающейся шали. И едва с причалившей к стенке шхуны опустили сходни, возле них снова появилась рослая фигура в черной шали.

— Эй, на «Штыренко»! — зычным, раскатистым голосом позвала женщина. — Ты что ясны очи выставил? — прикрикнула она на молодого матроса, вышедшего на ее зов. — Я тебе такое скажу, сразу заморгаешь. Давай сюда капитана вашего, я ему, водошлепу, выскажу, что причитается!

Она стала грозно подниматься по сходням. Доски гнулись под ней. Матрос пытался преградить ей путь, но она пренебрежительно отвела его рукой в сторону.

— Матушки родимые, чистый трактир развели, засвинячили корабль! Это разве судно? Тараканья лоханка это! Эх, Трофима Егорыча на вас нет! Знал бы он, на каком страхе его фамилию держат, так раскидал бы всю могилку свою, бедняжка, на Кифере да изобразил бы вам всем своими словами, чтобы вы могли понимать, какие вы есть бичкомеры.

Это было уж слишком. Бичи, или бичкомеры, — это старая презрительная кличка моряков, которые не дорожат своим судном, готовы ит-

ти на любой корабль. Всякий уважающий себя советский моряк презирает бичей и почитает эту кличку оскорбительной.

— А ты кто такая? — спросил матрос, воспользовавшись тем, что женщина наконец перевела дух.

— Я вашему судну вдовой прихожусь, вот кто я! Скажи капитану — Аграфена Васильевна пришла и хочет с ним иметь разговор.

— Ксюк, — закричал матрос, — скажи капитану, что Штыренкина явилась!

Через минуту вся немногочисленная команда «Штыренко» вылезла на палубу. Капитан, маленький живой абхазец Джахаев, почтительно пожал руку вдове и представил ей других членов команды: своего помощника Топусова, моториста Семенова, рулевого Ксюка и кока Галюшкина.

— Галюшкин, — застенчиво поправил молоденький кок, сделав ударение на первом слоге.

Тут же капитан стал объяснять вдове, что судно только что возило марганцевую руду из Чиатур, а известно, что после нее сразу корабль не отскребешь. А что касается опоздания, то на это были также свои веские причины. Но вдова была неумолима.

— Никогда вы эдак не отмоете, — наступала она на капитана. — Вы только поглядите: разве так приборку делают? Морду себе, небось, перед свиданкой аккуратнее скоблите. А сейчас только грязь по палубе развозите. Что вы, ребята, на самом деле!.. Нет, морячки, у нас с вами большой разговор будет. Уж если такое название дали себе — вот у вас всюду написано: «Штыренко», «Штыренко», — то уж надо все соблюдать, как полагается. Что, сама не служила, что ли? Двадцать три года ходила, все моря облазила, все ветра нюхала, из-за ревматизма только и ушла. Сирокой мне ревматизм надуло... А такого безобразия сроду не видела. Трофим Егорыч моряк был во всем исправный. Мы и уголь возили, когда приходилось, а ни шута подобного безобразия у нас не было. Товарищ капитан, я этого дела так не оставлю. Или чтобы все было, как следовало, или я в управлении кому надо слово скажу, чтобы у вас имя сняли. Я своего Трофима Егорыча пакостить не дам. Вот весь мой сказ.

Через год я был в Управлении Черноморского торгового флота. Мне захотелось узнать, как идут дела на «Штыренко».

— Ну что же, — сказали мне, — судно, конечно, не очень видное, план у него не ахти какой большой, но справляется молодцом. У них там история была забавная. Этого самого Штыренко вдова прямо истерзала их. А ребята там хорошие. Молодежь все. Только сперва обижались, что их на такую маленькую посудинку определили. А эта вдова не давала им прямо ни сна, ни отдыха. Ну и добились своего. Теперь у них там и портрет Штыренко в кубрике висит — вдова подарила. Вообще все честь честью.

Может быть, вам попалась на глаза маленькая заметка в «Правде» — она называлась «Последний рейс «Штыренко». Если вам интересно, я расскажу, как было дело, так как участвовал в этом рейсе.

Весной этого года я снова попал на «Штыренко». Я встретил его у стенок мола. На нем только что кончилась приборка. Все сверкало на кораблике. И, отмытый до блеска, оттертый скребками, только что окаченный из брандспойтов, словно помолодевший, он предстал передо мной, мигом подобрав паруса, как человек, с которого парикмахер только что сдернул простыню.

Дородная женщина тряпочкой, очень по-домашнему, обтирала на корме ствол зенитного пулемета.

— Знакомьтесь, — сказал мне капитан Джахаев. — Аграфена Васильевна Штыренко, тетя Феня, — так сказать, вдова нашего корабля.

— Мы как будто знакомы, — сказал я.

— С первых дней войны у нас работает, — продолжал капитан. — Явилась прямо с вещами и говорит: «Теперь не время мне на берегу отсиживаться. Вот вам моя мореходка, документы все при мне. Давайте, какая есть у вас работа. Пригожусь еще».

— А что, неправда, скажешь? — откликнулась вдова.

Аграфена Васильевна, тетя Феня, была у нас чем-то вроде уборщицы, помогала она также и коку. Судно было небольшое, двести тонн, экипаж маленький. Дело находилось. И хотя характер у тети Аграфены Васильевны не исправился, к ней все очень привязались.

Недавно мы получили задание — отвезти боеприпасы на одну батарею. Берег там был занят немцами. Но как раз против входа в бухту расположился искусственный островок. На нем есть крепость. Через весь остров пробит тоннель. В нем имеются входы в казематы, электростанция, пекарня — все это скрыто под землей. А сверху посажены маслины, акации, устроен палисадник, и в зелени незаметно укрылась батарея. Остров этот лежит дугой перед входом в бухту, словно подкова прибита на счастье. Только эта подкова была тут немцам на горе.

Батарея наша была с островка, беспокоила немцев. Но там как раз подошли к концу снаряды. Все запасы были израсходованы. Командование вызвало капитана Джахаева и дало ему задание: доставить на остров снаряды.

Вечером Джахаев собрал наш маленький экипаж и передал приказ.

— Дело трудное, но почетное, — сказал капитан. — Доверие, одним словом, оказано. Вопрос ясен.

Мы решили в этот рейс вдову нашу не брать. Дело опасное, крайне рискованное. Капитан нарочно отпустил Аграфену Васильевну до утра в город. А ночью мы тихонько снялись, подошли к известному месту, приняли груз и взяли курс на остров. Шли мы в полной тьме, не зажигая огней. Вдруг у входа в каюту я наткнулся на кого-то. Черная фигура показалась мне незнакомой.

— Это кто тут? — спросил я.

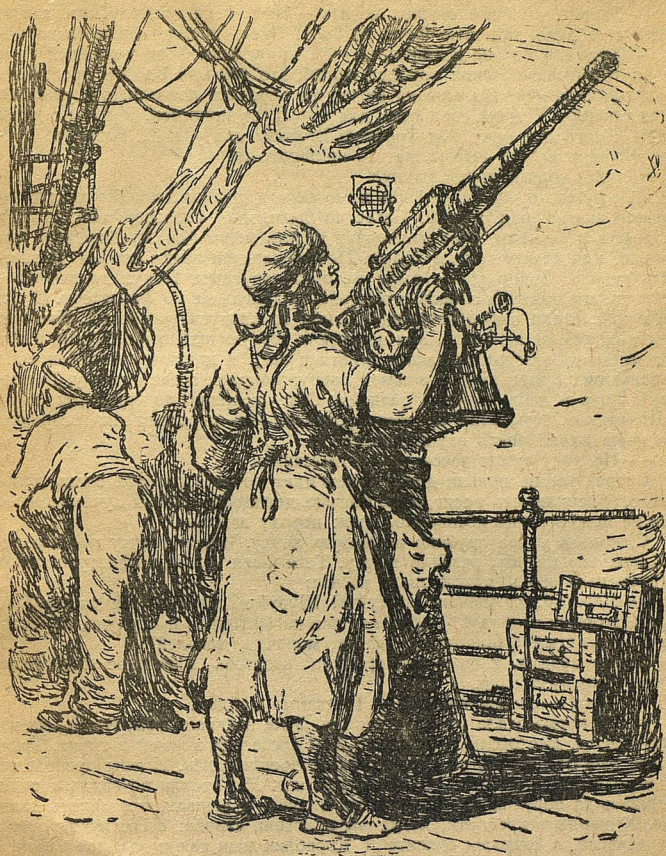
— Кто? — услышал я в ответ. — Уж и признавать не хотите! Это вы что же, барбосы, бегать от меня вздумали? И есть у вас после этого совесть, или вы ее на берегу оставили?

Передо мной в своей черной шали стояла тетя Феня. На шум спустился капитан.

— Ну что, понимаете, за баба такая! — пробормотал он.

Стали выяснять, каким образом тетя Феня разузнала, что мы уходим, и как она попала на корабль. Оказывается, часовой просто пропустил тетю Феню, так как документы были при ней. А ребята, видно, в темноте проморгали. Она укуталась в свою черную шаль и прошла незаметно в каюту. Капитан даже рассердился, плюнул и накричал на Аграфену Васильевну. Но тетя Феня была не из таких, чтобы позволить кому-нибудь кричать на себя.

— Ты на меня не гавкай, капитан, — промолвила она и перекинула конец шали через плечо. — Я и в мирное время никому не позволяла, чтобы на меня голосом закидывались, а в военное совсем не допущу.



— А что, неправда, скажешь? — откликнулась вдова.

Мы пробовали объяснить ей, что рейс у нас особенный и что мы не хотели подвергать ее опасности.

— Значит, соленные огурцы возить — тетя Феня, пожалуйста, а как настоящее дело, так тетю Феню за борт! Очень премного вам благодарна. — Неожиданно она всхлипнула. — А что у тети Фени покойный муж от чертовой фашистской торпеды погиб, это забыли? Забыли про моего Трофима Егорыча? Вы еще на берегу на карачках ползали, а я уже все моря обошла. У меня свой счет для фашистов припасен. У меня с ними война с того дня идет, как Трофима Егорыча они убили... Говорите лучше, что мне делать сейчас, за что приниматься.

Капитан только рукой махнул.

Нам нужно было проскочить мимо берега ночью: днем бы нас немцы раздали из своих орудий. Известно было, что фарватер там, между островом и берегом, весь минирован и есть мели. Мы пробирались тихонько, идя самым малым ходом. Потом капитан велел совсем выключить дизель. Судно у нас было моторно-парусным. Подул подходящий ветерок, мы подняли гафель и осторожно двигались по фарватеру. В три часа ночи стали около островка. Немец начал пускать ракеты. Нас как будто сперва не заметили. Мы нагрузили первую шлюпку порохом, и вот тут началось... Большая ракета осветила нас, и мы почувствовали себя голенькими, будто вместе с тьмой вокруг содрали с нас одежду. Немцы стали бить в нашу сторону залпами. Они стреляли по крепости и по «Штыренко». Командир крепости приказал нам укрыться на островке. Но наша вдова опять заупрямилась:

— Не хочу своим весом порох вытеснять.

Сперва мы не поняли даже, о чем идет речь. Тогда она очень деловито объяснила, что весит, мол, больше девяноста кило и лучше вместо нее на шлюпку еще несколько банок пороху забрать.

Снарядом у нас срубило кормовую мачту. Через минуту продырявило верхнюю палубу, разбило каюту. Тетя Феня бегала с огнетушителем, затаптывала огонь, покрикивала на нас:

— Давайте, паренечки, орудуйте! Шуруйте, хлопцы! Не дадим Трофима Егорыча в обиду! Чтоб им кишки на брашпиль навернуло, курслепам, проклятым фашистам! Давайте, морячки, веселей!

Завыл воздуж, и снарядом пробило насквозь машинное отделение. Внутрь хлынула вода.

— Болт! — сказал капитан. — Подзаныр пойдем.

Наша корма стала уходить в воду. Уже заливало палубу. Но, на наше счастье, место там неглубокое. Мы врезались кормой в грунт. Трюм у нас был под водой, но дальше мы не погружались. Немцы прекратили огонь — решили, видимо, что потопили нас. Мы стояли по грудь в воде, держась за поручни на затопленной палубе, и решали, что делать дальше. Комендант крепости, когда мы прибыли, сказал: «Нам лучше хлеба не давайте, а снаряды спасите...» Кораблик наш так и валился набок, а если еще из трюма снаряды вытащить, совсем на перекувырк пойдет. И тут золотая наша вдовушка присоветовала нам:

— Вы, хлопцы, привяжите судно концами за деревья, что на острове, оно и не перевернется, ветер-то навалный...

Это был превосходный совет, но берег отстоял от нас метров на пятьдесят. Моторист Семенов и рулевой Косюк поплыли в темноту, подтянули концы, обмотали ими деревья, закрепили корабль за переднюю мачту и за корму. Подул небольшой ветерок. Пошла зыбь. Нас покачивало, и, скрипя во тьме, покачивались с нами в лад деревья на островке.

Семенов и Косюк вернулись на судно, отдышались и стали по очереди нырять в трюм. Но снаряды мы привезли тяжелые — каждый пудов по восемь. Мы тогда что сделали? Мы взяли пеньковые концы, приделали к ним крючки, Косюк и Семенов ныряли в трюм, нащупывали снаряд, охватывали его петлей, а мы на палубе вытаскивали наверх, потом тащили снаряды на шлюпки и отправляли на берег. Так мы работали всю ночь.

Уже начало светать, когда мы грузили последнюю шлюпку. Капитан опять стал уговаривать Аграфену Васильевну немедленно сойти с судна. Тетя Феня заколечена в воде. Она уже еле губами шевелила, но мы расслышали:

— Бросьте вы, ребята, этот разговор. Не о том забота... И так шлюпка с перегрузом идет, а я свои телеса прибавлю — куда же тут?

Когда последняя шлюпка была разгружена, капитан сам отправился за ней, за вдовушкой, и коком, которые остались на «Штыренко». Но было уже так светло, что немцы заметили шлюпку и открыли по ней огонь из миномета. Осколком мины капитана ударило в руку. Еще одна мина взорвалась у самой шлюпки, разнесла ее, и, когда опала вскинутая вверх вода, Джахаев и Галюшкин увидели на поверхности черную шаль, медленно уходящую в воду. Загребая одной рукой, кинулся туда капитан. Галюшкин нырнул и не дал Аграфене Васильевне уйти на дно. Кое-как они добрались до островка, с двух сторон поддерживая тетю Феню. Она была ранена осколками мины в грудь и в голову.

В каземате ей сделали перевязку. Она открыла глаза.

— Все взяли?

— Все.

— Ничего не осталось?

— Ничего, тетя Феня.

— И я все свое взяла, — проговорила она. — Сходила-таки в последний рейс с Трофимом Егорычем. — Она помолчала немножко и, обведя нас медленным взглядом, словно стараясь запомнить каждого, тихо сказала: — Отбываю, паренечки... счастливо вам... штыренковцы...

Первый раз она назвала нас так. Потом попросила поднять ее к амбразуре, чтобы проститься с морем.

Рассвело. Начался прилив. Все выше и выше поднималась вода. Вот уже на нашем корабле залило крышу каюты, потом только мачта осталась над поверхностью. И сказала нам тетя Феня:

— Вот как она в воду уйдет, так и я с ней...

И стала собирать на себя мокрую черную шаль, из рук не выпускала ее. Натянула шаль на грудь, по плечи, потом, словно хотела покрыться ею, подняла руку к голове... И упала рука...

Невольно мы все обернулись к морю. Только прибой там шумел, волны катились по проливику, и ничего не осталось от нашего «Штыренко».

Мы похоронили тетю Феню тут же, на островке, в крепости, между камнями, в углу палисадничка, под акациями. Проволокой укрепили круг с нашего корабля, и на круге написали: «Аграфена Васильевна» — получилось «Аграфена Васильевна Штыренко», — и повили круг сбоку черной шалью.

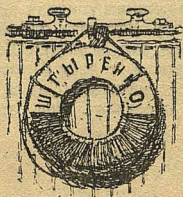
Молча стоял наш экипаж у могилы. Ребята даже переодеться не успели. Утренний холодный ветер пробирал нас, но мы стояли не шевелясь. Комендант выстроил рядом с нами весь свой маленький гарнизон. Капитан Джахаев сказал короткую речь:

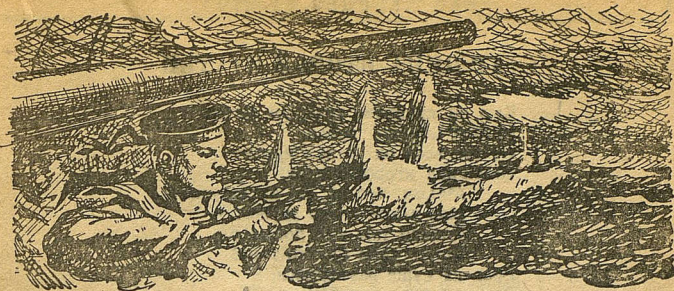
— Прощай, хороший человек, Аграфена Васильевна, подруга моряка, хозяйка корабля нашего. Спасибо тебе. Матерью ты нам была, тетя Феня.

Уже совсем рассвело. Немцы на берегу зашевелились. И комендант надел фуражку.

— Товарищи моряки, попрошу уйти в казематы. Мы почтим вдову нашего корабля таким артиллерийским салютом, какого ни одному адмиралу не давали.

И дрогнул, заходил ходуном островок. Над могилой тети Фени заревели доставленные нами снаряды. Дымом и едучей пылью закрылся весь тот берег, запылали немецкие казармы. Немцы начали отвечать нам, но скоро их батареи умолкли, подавленные мстительным огнем с островка. А батарея наша все била и била. Яростный, гремучий воздух, казалось, пригибал акации в палисадничке. И при каждом залпе слегка вздымалась шаль на белом пробковом круге.





Вас. Лебедев-Кумач

КОМСОМОЛЬЦЫ-МОРЯКИ

За Черное море, за горы Кавказа
Два друга сражались в пехоте морской.
На целую книгу хватило б рассказов
О людях таких и о дружбе такой!
Они по-геройски решали задачу —
Ползут ли в разведку, идут ли в штыки.
Доложат и скажут: «А как же иначе?
Ведь мы ж комсомольцы, ведь мы ж моряки!»
В жестоком бою, окруженный врагами,
Упал капитан, командир боевой.
Два друга пробили дорогу штыками,
Спасли командира, рискуя собой.
Сказал капитан им горячее слово:
«Спасибо, герои! Спасибо, сынки!»
Ребята смутились: «Да что ж тут такого?
Ведь мы ж комсомольцы, ведь мы ж моряки!»
Немецкие танки друзей окружили,
И справа и слева фашисты зашли.
Герой стоять до конца порешили —
Полдюжины танков вдвоем подожгли.
Когда же лавина врагов поредела
И к норам своим откатились враги,
Друзья улыбались: «А что было делать?
Ведь мы ж комсомольцы, ведь мы ж моряки!»
За море родное, за землю родную
Два друга сражались в пехоте морской...
Ну как же нам песню не спеть боевую
О людях таких и о дружбе такой!

СТАРШИНА ВТОРОЙ СТАТЬИ

Был он крепким, храбрым сыном
Боевой морской семьи,
Лучше всех он ставил мины —
Старшина второй статьи.

Медом, что ль, он их намажет
Иль какое слово скажет, —
Только там, где побыл он,
Тонет уйма брутто-тонн!

Враг на суше разъярился,
Все сильнее идут бои.

И на берег отпросился

Старшина второй статьи.

Снова враг на минах рвется,
Старшина глядит, смеется:
— Не уйдешь от мин нигде —
Ни на суше, ни в воде!

Кончен бой зимы суровой,

Прозвенели с гор ручьи.

На корабль вернулся снова

Старшина второй статьи.

Снова тонны в море тонут,
Снова фрицы в горе стонут...
Пишет батька старшине:
«Ты теперь минер вдвойне!

Я горжусь, сынок, тобою, —

Плоть и кровь в тебе мои!

Будь по всем статьям героем,

Старшина второй статьи!»

Корабли волна колышет.

Сын ответ с любовью пишет

Дорогому старику,

Боевому моряку:

«Батька, я всегда стараюсь

Оправдать слова твои.

В этом я тебе ручаюсь —

Старшина второй статьи».

ЗОЛОТИСТЫЙ ХОХОЛОК

Прибыл к нам в морскую роту

Молодой такой стрелок.

У него лицо в веснушках,

Золотистый хохолок.

Парень росту небольшого,

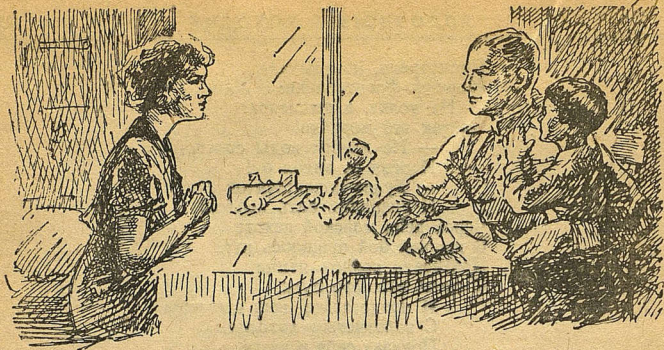
Не плечист и не речист

И, сказать по правде надо,

С виду очень неказист.

Посмотрели, повздыхали
Морячки-фронтовики:
— Не вояка, а цыпленок!
Ох, уж эти морячки!
— Не хлебал воды соленой
И огня не видел он!
— Будет кланяться он пулям
И снарядам бить поклон!
Через день морской пехоте
В жаркий бой пришлось итти:
Приказали выбить немца
С очень важного пути.
И представьте, наш цыпленок
С золотистым хохолком
Показал себя в атаке
Настоящим моряком.
Уложил десяток фрицев,
Первым прыгнул в их блиндаж.
Смотрим — парень подходящий,
Ясно видим — парень наш!
И сейчас же после боя
Разговор у нас пошел:
— Не цыпленок, а орленок!
— Не орленок, а орел!
Смотрим — вроде наш парнишка
Сразу вырос на вершок,
И глядит совсем геройски
Золотистый хохолок.
И веснушки незаметны,
И походка хороша...
Вот что значит боевая,
Настоящая душа!





П. Павленко

ЖИЗНЬ

Мать с четырехлетним мальчиком переходила улицу. Путь преградили трамваи, остановившиеся по сторонам перекрестка. Она ожидала, чтобы вагоны разминулись.

Вдруг мальчик, весело взвизгнув, вырвался вперед и пробежал по рельсам перед самым вагоном, уже тронувшимся.

Мать закричала. Крик был так страшен, что оба вагоновожатых сразу затормозили. Публика высунулась из окон, а висевшие на подножках стали заглядывать под колеса.

— Тоже — мать! — отовсюду кричали женщине. — Балбеска несчастная!

Она металась в узком пространстве между трамваями, зовя: «Коля, Коля!», и сразу сделалась какой-то растрепанной, жалкой.

— Какой из себя ваш? В голубой рубашке? Беленький такой?

Задышавшись, отирая с лица пот, держа руку у горла, она кивала головой, глядя на окружавших ее полными ужаса глазами.

— Вон его какой-то военный подхватил на руки! Ранен, наверно!

— Где, где? — Она заторопилась, куда ей указывали.

Высокий запыленный летчик, настолько запыленный, что казался одетым с ног до головы в одно серое, шел по тротуару, держа Николая на руках и все время целуя его. Мальчик смеялся и теребил летчика за уши. Он не казался ни раненым, ни даже ушибленным. Ему нравилось на руках у летчика.

— Товарищ военный, вы с ума сошли! — крикнула мать, догоняя летчика.

Тот продолжал идти, ничего не слыша.

— Колька ты мой, Колька! — бормотал он в блаженном безумии. — Как же ты тут оказался? Негодяй ты мой милый!

Мальчик что-то отвечал ему.

— Слушайте, это хулиганство! — Мать схватила летчика за рукав и остановила его. Она была близка к истерике. — Куда вы потащили моего мальчика? — Она почти кричала: — Это безобразие! Оставьте его! Я позову милиционера!

Летчик оглянулся, точно его разбудили.

— Вы чего? — спросил он женщину.

Толпа уже окружила их шумным кольцом.

— Куда вы тащите моего мальчика?

— Какого вашего мальчика? Это мой собственный сын. — И, точно проверяя себя, летчик удивленно поглядел на малыша: — Ты чей сын, Коля?

— Твой! — кокетливо ответил тот и протянул руки к женщине. — А она — мама.

— Как она мама? А где ж наша мама?

— Наша мама умерла, — объяснил Коля. — Немцы, когда пришли, они выстрелили в нее, а тетя Липа закрыла мне глаза, а потом я посмотрел...

— Понятно, Коля, понятно, — и отец судорожно втянул в себя воздух. — И вы взяли его? Давно? — спросил он женщину.

Она стояла, закрыв глаза, и скрипела зубами, будто перевозмогая острую боль. Руки ее, все еще прижатые к горлу, дрожали.

— Вот что, — сказал летчик. — Вы маленько придите в себя. Как же мы тут... Надо бы нам поговорить... Куда вы шли?

— Домой.

— К себе?

— Ну да, к нам, — она несмело кивнула в сторону мальчика.

— Пошли. Я, правда, как чорт... да тут еще эдакий переплет... Ничего?

Толпа медленно расступилась.

— Ничего, что вы... — говорила женщина. — Вот сюда... Коленька, где твой платок? Вытри нос... Направо! Но вы не можете, не должны, вы не смеете действовать незаконно.

Летчик молчал. Она семенила за ним с таким виноватым видом, будто была уличена в преступлении, за которое ей грозит самое позорное наказание.

Они не помнили, как дошли.

Комнатка была маленькая, бедно обставленная, с кушеткой, столиком да примусом в углу на чемодане.

Несколько стареньких игрушек лежало на подоконнике.

Летчик опустил сына на пол.

— Давайте познакомимся. Майор Бразнев.

— Рогальчук. Очень приятно. Думаю, что у нас не получится недоразумения.

— Какое тут может быть недоразумение? — сказал он, удивленно и вместе с тем строго взглянув на эту немного неприятную ему женщину.

Она была невысока, худощава, с очень милым лицом, которое портила только тяжелая складка у губ да выражение крайней растерянности — печать несчастья, бывшая душою всего лица. Руки были тонки, голубоватых тонов. Малокровие.

— Садитесь, — сказал он. — Поговорим. Времени у меня мало.

— Страхните с себя пыль, умойтесь, товарищ Бражнев, выпейте чаю...

В голосе женщины майор почувствовал желание удержать его и что-то противно выпросить, вымолить у него.

— Нет, сначала поговорим.

Все же, прежде чем начать рассказ, она успела выйти к соседке, и по звукам, скоро донесшимся из коридора, Бражнев догадался, что там разогревается чайник.

— Я жила в Ленинграде, — сказала Рогальчук. — В январе погиб мой муж. Почти на моих глазах. Я осталась одна. Было так тяжело, что я не знала, сумею ли жить. Мне нужна была жизнь рядом со мною, чья-то жизнь, чей-то рост... чье-то счастье, чтоб идти вместе с ним. Я решила усыновить сироту. Их было много. Но я не сразу нашла. Я искала похожего на мужа. Конечно, дети потом меняются, но хотя бы месяц-другой видеть родные черты в маленьком личике мне было просто необходимо. Затем я хотела, чтобы мальчик носил его имя. Когда я впервые увидела Колю, я сразу поняла — вот он, мой мальчик, мой навсегда.

— Какой же он сирота? — сказал майор. — Это ошибка.

— Нет, папа, я сирота, — вмешался Коля. — Тетю ж Липу опять немцы убили.

Он сидел, маленький, бледный, с личиком, тоненько разрисованным голубыми жилками, и внимательно следил за приключениями собственной жизни.

— В интернате мне сказали, что мать Коли убита, отец погиб на фронте, ближайшие родственники частью тоже погибли, частью в больнице на излечении. Я тут же договорилась с администрацией и взяла его.

— Тогда погиб не я, однофамилец мой, — сказал майор.

Рогальчук озабоченно оглянулась, что-то ища.

— Ты что, мама? — спросил ее мальчик.

— Сумочку.

— Ты опять ничего не видишь, мама, сумочка же вот, на стуле.

Исподлобья взглянув на сына, майор пробарабанил пальцами по столу.

Его оскорбляло, что мальчик называет матерью эту чужую женщину, но он стеснялся сделать ему замечание вслух.

Рогальчук вынула из сумочки паспорт и положила перед майором.

— Я считала, что имею право взять сына погибшего командира. Я человек грамотный, я работаю, я могу воспитать ребенка... Я сама вдова командира.

Голос ее был приятно негромок, и, вслушиваясь в него, Бражнев думал о той, которую он уже никогда не увидит, о той веселой, тоже немножко болезненной, но все же гораздо более сильной, чем эта женщина, — которая была его женой, его счастьем, половиною его сил и надежд.

С ее смертью он становился как бы гораздо меньше, недолговечнее, бесталаннее, точно вместе с нею терял и часть своего огромного, всегда казавшегося беспредельным будущего.

Соседка внесла на подносе две чашки чая и блюдечко с вареньем. Бражнев машинально придвинул к себе чашку и, только положив в нее две ложки варенья, сообразил, что не то делает.

В комнате было тихо. Повидимому, Рогальчук уже кончила говорить,

— Эх ты, папа, папа! А еще взрослый! — И Коля, очень довольный, что поймал отца на ошибке, захлопал в ладоши. — Мама даст тебе! Варенье надо всегда на хлеб мазать. Не знаешь?

Отец смущенно улыбнулся.

— Чорт его, я отвык, как тут у вас... Ну, виноват, не буду. А сладкий чай ты выпей, Колька.

— И опять неправда, — назидательно возразил мальчик. — Я еще кашу есть буду, а чай потом.

— Вы меня, повидимому, не слушали, — задыхаясь, произнесла Рогальчук. — Так вот, слушайте: Коля в такой же мере мой сын, как и ваш. Он мой по закону. Я усыновила его.

— То есть как это усыновили? Ну, знаете...

— Конечно, он Николай Бражнев. Но он внесен в мой паспорт.

Майор встал, прошелся по комнате.

— Вот, чорт его, положение! Что же мы будем делать? А надо решать. И хорошо надо решить. Прежде всего спасибо вам, что спасли малого, что полюбили его. Спасибо, что боретесь за него. Найди я его беспризорным, куда мне с ним? Просто беда!.. Ну, а что будем делать, когда я вернусь с войны?

— Об этом сейчас незачем думать, — твердо сказала Рогальчук. — Я думаю, что и тогда мы решим дело так, чтобы ребенок не проиграл, а выиграл.

Никогда не был мальчик так дорог отцу, как сейчас. В штопаной рубашонке, перешитой безусловно из старой блузки, он выглядел сейчас очень озабоченным. Он понимал, что решалась его судьба, и, может быть, боялся, что взрослые решат не так, как надо.

Майор вздохнул.

— Зарабатываете-то ничего? Хватает на двоих?

— Не жалуюсь.

Лицо Рогальчук немного успокоилось, посветлело.

— А как у него с одежкой? Туговато?

— Все самое необходимое у него есть. Сейчас не до роскоши. Да он мальчик не избалованный, серьезный.

— По аттестату вы будете, конечно, теперь получать от меня. И надо к Военторгу прикрепиться. Сделаем. Карандашика нет под рукой? Запишите-ка мою полевую почтовую станцию.

Рогальчук записала.

— Может быть, вы хоть сейчас умоетесь? — спросила она. — Вот таз, вот вода.

— Спасибо. Я вас вообще не задерживаю?

— Нет, у меня выходной.

— Мы с мамой сегодня в кино собрались, — сообщил Коля. — Пойдем вместе?

— Не смогу, сынок. Проводить провожу, а в кино мне некогда. Ехать надо.

Рогальчук вышла, чтоб не стеснять майора, и он снял гимнастерку и вымылся до пояса. Потом взял со стола паспорт Рогальчук и внимательно просмотрел его. Она вернулась в комнату как раз тогда, когда он читал.

— Вы, значит, Зинаида Антоновна, — сказал он, слегка смутившись. — Так, культурно. А я, Василий Васильевич. Тридцати шести лет. Надо же нам для порядка своими позывными обменяться. Как думаете?

— Пожалуй, — улыбнулась она.

Потом майор вытряс и вычистил гимнастерку, протер платком целлюлоидовый воротничок. Смахнул пыль с орденов.

— Ну, мне пора, — сказал он.

Они вышли втроем, держа сына за руки.

Высокий загорелый майор с двумя орденами обращал на себя внимание всех встречаемых ребят. Они останавливались, разинув рты. Коля шел гордый, счастливый.

У остановки трамвая майор крепко обнял сына и долго целовал его личико, шею и тонкие руки.

— Люби Зинаиду Антоновну и слушайся ее, — сказал он.

— Кого — ты сказал? — переспросил сын.

— Ну, маму... вот ее...

— Я и так ее люблю. А ты?

Зинаида Антоновна побледнела, и вся фигура ее сделала невольное движение в сторону.

— Коля, милый, — залопотала она, — ты попроси папу писать тебе.

— Папа, ты пиши нам. Ладно?

— Ладно. И ты, Коля. И слушайся, главное.

— Мама тебе будет писать, а я там чего-нибудь тебе нарисую.

— Идет. Спасибо... Ну, значит, так. До свидания, Зинаида Антоновна, — и он впервые за день открыто и просто поглядел ей в глаза.

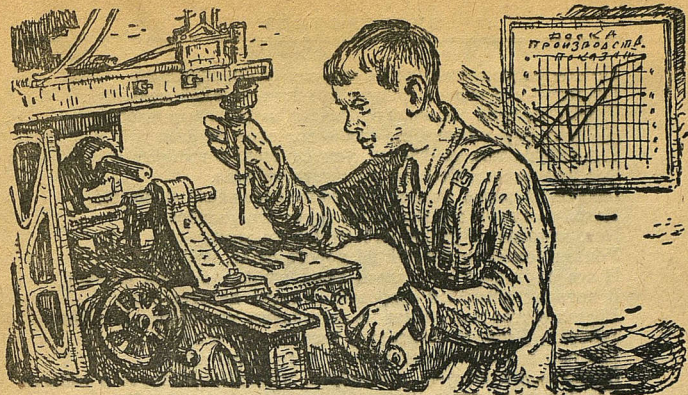
— А почему ты маму не поцелуешь? Меня целовал, а маму нет. Почему, папа?

Бражнев взял ее за плечи и осторожно коснулся губами ее лба.

— Спасибо вам, родная, спасибо!

Он вскочил на подножку трамвая и, хотя мест было много, долго не входил внутрь вагона, а все смотрел назад, на худенькую неизвестную женщину с худеньким мальчиком рядом.



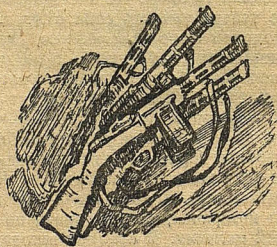


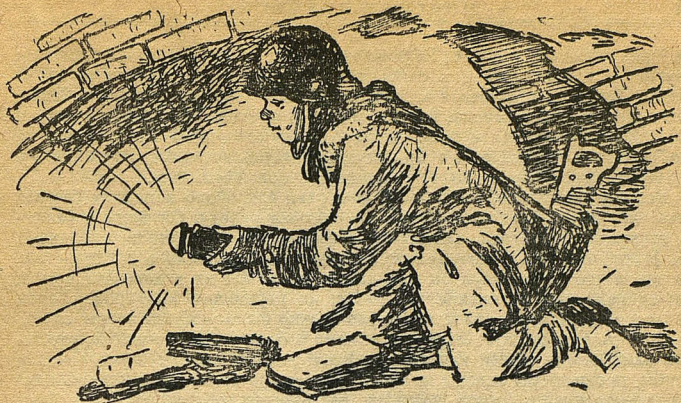
Виктор Гусев

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

Есть на энском заводе товарищ Василий Павлыч, Уважаемая фигура, серьезнейший гражданин. Недаром на «доску почета» имя его попало, Недаром воспел его в прозе проезжий писатель один. Газета о нем писала, его достижениям рада. И вот, от воздушной тряски в пути побледнев слегка, На самолете «Дуглас» примчал из Москвы оператор И снял Василия Павловича непосредственно у станка. А через короткое время в кинотеатре местном В киножурнале показывали несколько сцен про него. Был скромнен Василий Павлыч. Но все-таки, знаете, лестно Вдруг на экране театра увидеть себя самого. Вышел он из столовой шагом уверенным, скорым. Направился к кинотеатру, но вдруг — о позор и стыд! — На этот сеанс вечерний бездушные контролеры Его, Василия Павловича, не захотели пустить. — В чем дело?! — вскричал он гневно. — К чему такие мученья? Мною заплачены деньги, куплен законный билет. — Увы, — контролеры сказали, — на эти сеансы вечерние Не допускаются дети моложе шестнадцати лет. — Ему же было пятнадцать. К тому же — еще не полных. А видом он был невзрачен, четырнадцати не дашь, Этаким худенький мальчик. В средней школе, я помню, У нас таких называли попросту: карандаш. И оттого ли, что серые глаза его загрузили, Или узнав, что он хочет себя самого посмотреть,

Но контролеры смягчились и в зал его пропустили.
Он сел — и с экрана грянула военных мелодий медь.
Глядел на себя мальчишка, глядел задумчивым взором,
До слез ему захотелось, чтобы вот этот журнал
Где-нибудь там, на фронте, увидел отец, о котором
Вот уже восемь месяцев он ничего не знал.
Глядел на экран мальчишка, нахохлившийся, упрямый,
Какой-то комоч непослушный грудь его распирает.
Нет, никогда не увидит его на экране мама,
Убитая бомбой немецкой по дороге сюда, на Урал.
И все ему вдруг показалось диковинной, страшной сказкой,
В которой смешался с кровью недавно детства снег.
И стал в этот миг ребенком, маленьким мальчиком, Васькой
Товарищ Василий Павлович, уважаемый человек.
Так ему захотелось материнскую слышать песню,
Прижаться к кому-то родному и, может, всплакнуть и сказать,
Что батька не пишет долго, что в общегитии тесно,
Что вот ему белишко некому постирать.
Но свет загорелся в зале, волшебная тень пропала.
Вновь на мгновение белым стал экран и пустым.
— Ну как, на себя поглядели, товарищ Василий Павлыч? —
Сказал контролер, тот самый, что сперва его не пустил.
...Поднялся Василий Павлыч, спокойным и твердым шагом,
Как подобает, на улицу вышел, спокоен вполне.
Побежал с толпой ребятишек по кустикам, по оврагам.
Лег — и отца и сражение видел всю ночь во сне.
И повторял это имя мальчишескими губами.
Вставал над Уралом погожий, солнечный, светлый денек.
Отец его в это утро сражался в низовьях Кубани
И думал: где его мальчик, где Васька, его сынок?
Отца разлучила с сыном немецкая сила злая.
Лежал он в степи казачьей, под ливнем кубанским косым.
Сжимал рукой автомат он, оружие свое, не зная,
Что автомат ему сделал в тылу, на Урале, сын.





Николай Тихонов

«Я ВСЕ ЖИВУ»

Это был первый случай, что его послали представителем от завода. Надо было выступить на одном небольшом собрании и рассказать о своей работе.

— Я не умею говорить много, — сказал он серьезно.

— Иди, иди! — отвечали ему. — Ты у нас передовой, ты коротенько расскажи, как ты, работая по третьему разряду, выполняешь работу пятого, как слесарем стал, ну, и еще что-нибудь.

Собрание было коротким.

— Время военное, — говорил он солидно, как бывалый производственник, и даже вызвал улыбки у присутствующих, когда сказал басом: — Из старых рабочих на моем участке осталось только двое: я да Степанова. Все на фронт ушли, или заболели, или померли, или эвакуированы. Степанова старше меня. Ей примерно девятнадцать-двадцать, а мне примерно пятнадцать-шестнадцать...

Собрание ему понравилось, потому что на нем выступали очень интересные люди, из которых каждый смог рассказать много любопытного о своей профессии, о днях осады, о зиме, о пережитых опасностях.

Возвращаясь, он шел, слегка задумавшись, по набережной небольшой реки; деревья уже были в зеленом уборе, набережная была чистая, как вымытая, город ничем не напоминал мрачные зимние дни. Он сел на скамейку и с удовольствием стал смотреть по сторонам.

Целую зиму ему некогда было думать о себе, а теперь собрание и все, что он услышал там, вызвало в нем целый поток воспоминаний. Он видел себя в родной деревне, видел сестру, шедшую с ведрами по дво-

ру, видел братьев: одного, маленького, верхом на колхозной лошади; другого в гимнастерке и в сапогах со шпорами — он пришел тогда из армии. Теперь брат дерется с немцами. Из дому писем не пишут. Верно, тоже работают на оборону, как он: днями и ночами. Вспомнились первые месяцы в Ленинграде в ремесленном, потом слесарный цех, каким он его увидел в первый раз: с брызжащими металлическими стружками, с ворчаньем и стуком станков, с прохладой большого зала.

Все ему нравилось, все шло гладко, руки как будто понимали без его указаний, как и что надо делать. Он обожал работу. Он даже с каким-то изумлением смотрел, как выходят из-под его рук детали, сделанные им. И то, что это было сделано именно им, наполняло его гордостью. Он ни за что не покинул бы завода, не уехал бы ни в деревню домой, как сделали его маленькие товарищи, ни переменял бы город. Город был такой огромный, что каждый раз можно было увидеть новое, сколько бы в нем ни ходить. Затем он увидел его, как в каком-нибудь страшном кинофильме, когда началась война и ночами горели дома, падали бомбы, прожекторы освещали небо, непрерывно гремели зенитки. Он помогал вытаскивать из-под развалин засыпанных обломками. Это была трудная и опасная работа. С ним работал и тот мастер, добрый Парфений Иванович, который прозвал его, Тимофея Скобелева, странным именем: «Я все живу».

Случилось это так. Парфений Иванович пришел в общежитие и говорил с ребятами об их жизни. На Тимофея находили припадки застенчивости, и он путал слова. Волнуясь, он на вопрос: «Ну, как живешь?», ответил не как хотел: «Я хорошо живу», а чего-то заробел, спутался и сказал: «Я все живу». Все засмеялись. Потом они подружились с Парфением Ивановичем, и тот шутливо спрашивал, приходя в общежитие:

— А как этот «Я все живу»? Жив еще?

— Жив, — отвечали ему и тащили к нему Тимофея.

Он сидел на зеленой скамейке, напротив пышного весеннего сада, и вспоминал. Зимой кончился ток, завод стал. Он таскал воду в бочках между сугробами, ел хрен в столовой, спал под полубубком, разбирал старые деревянные дома на дрова. Потом завод снова заработал, стал, как повелось говорить, делать «секреты» для фронта. Как Тимофей выжил, он сам не знал. Было и холодно и голодно, но он терпел все отлично и, когда пахнуло первым весенним теплом, ожил совсем.

— Ну как? — спрашивал его в ту зиму, видя Тимофея обычно с топором в руках, Парфений Иванович, закутанный до глаз шарфом. — Все живешь, брат?

— Все живу, — отвечал он простуженным голосом. — А что мне делается?

— Терпи, казак, атаманом будешь! — говорил Парфений Иванович.

Атаманом — не атаманом, а он стал самым умелым рабочим слесарного цеха, и у него уже были подручные.

Все это вспомнилось Тимофею как-то сразу, пока он сидел на зеленой скамейке. Он устал от мыслей, от их множества и пестроты. Он перестал думать и стал смотреть на деревья, на речку, на прохожих. Жизнь была странной. Он посмотрел на себя. Чисто одетый, опрятный, аккуратно работающий, не считаясь со временем, иногда по два дня не оставляющий цеха, он чувствовал себя счастливым. Но ведь в нескольких километрах от города сидели немцы, в воздухе гудели сторожевые самолеты или вдруг с непонятной быстротой начинали сыпаться снаряды...

Мимо него проходили по-весеннему одетые люди, какой-то мальчик ловил рыбу. Он стал смотреть на мальчика.

Мальчик был худой, остроносый, в серой куртке. Тимофей сначала рассеянно следил за этим рыболовом, но потом, когда мальчик встал и, взяв удочку на плечо, посвистывая, пошел к зеленой скамейке, Тимофея словно что-то толкнуло в бок. По мере того как мальчик подходил ближе к нему, Тимофей все яснее видел на его щеке коричневое большое пятно, как будто на щеке его застыл большой кофейный натек.

— Когда мальчик поровнялся с ним, Тимофей окликнул его:

— Эй, паренек, погоди минуточку!

Мальчик обернулся, оглядел Тимофея с головы до ног и сказал:

— Чего тебе?

— Присядь-ка на минутку, — сказал Тимофей, — если не торопишься.

— Я не тороплюсь, — ответил мальчик и сел на скамейку.

Тимофей молча разглядывал его. И мальчику это надоело.

— Что я тебе, картина? — сказал он. — Или говори что-нибудь, или я пойду...

— Вот быстрый какой! — сказал Тимофей. — А я вот медленно думаю.

— А ты думай быстрее.

Мальчик засмеялся, и тогда Тимофей спросил:

— Слышь, а где ты зимой жил?

— Где жил? — Мальчик свистнул. — Там сейчас ни одна крыса не живет. Наш дом разбомбили вчистую. Меня самого чуть не пришибло.

— Вот-вот, это я и спрашиваю, — сказал радостно Тимофей. — Дом с балконами, четырехэтажный, на углу вон там...

— Правильно. А что, ты тоже там жил? Или кого оттуда знаешь?

— Я там не жил, — сказал Тимофей. — А как тебя зовут?

— Шура Никитин.

— А скажи, Шура, что ты сейчас делаешь-то, учишься или что?

— Мать померла, отец мобилизован, я у тетки живу. Работать хочу, да не знаю, куда и как, мал я...

— А сколько тебе?

— Пятнадцать будет.

— Чего мал? Ничего не мал! Хочешь, устрою тебя?

— Ты? — спросил недоверчиво Шура, во все глаза рассматривая Тимофея.

— Ну а кто же! — сказал гордо Тимофей. — Я тебе сейчас записку напишу к одному человечку.

— А ты кто сам-то?

— Я, брат, слесарь, и ты будешь слесарем. Теперь не смотри на лета. Ты из зимы-то вылез ничего?

— Ничего, как тепло стало — бегу, и ноги не ватные...

— То-то, значит будешь работать. Ты завод у моста знаешь?

— Знаю.

— Вот там я и работаю. Сейчас я напишу тебе записку.

Он вынул записную книжку, которой очень гордился, поклонил карандаш и написал крупными прямыми буквами: «Милый Парфений Иванович. Надо устроить ко мне Шуру Никитина. Я все вам расскажу, почему. А он тоже расскажет».

Он передал записку Шуре, и тот сказал удивленно:

— Как это ты подписался: «Я все живу»? Что это такое?

— Это для секрета. У нас с Парфением Ивановичем свой секрет. Не

бойся, не подведу. Я тебе расскажу. Только, смотри, обязательно! Придешь? Не обманешь?

— А что мне обманывать? Конечно, приду. Меня отец немного слесарному учил. А ты мне скажи: почему меня остановил? Ты меня знаешь, что ли?

— Немного знаю, — сказал, вдруг смущаясь, Тимофей. — Я тут живу недалеко, много раз видел...

— И ты мне что-то знаком, ей-богу знаком, — сказал Шура, — а вот не припомню. У меня, знаешь, после того как засыпало в доме, голова болит часто. А тебя я где-то видел, правда, правда...

— Да, наверно видел, — сказал уклончиво Тимофей. — Близко друг от друга живем, так как не видеть? Так приходи, смотри!..

Тимофей рассказал ему, где найти Парфения Ивановича.

— Приду, — сказал Шура прощаясь, взмахнул удочкой и пошел по набережной.

Тимофей смотрел ему вслед и никак не мог понять, почему он не открылся ему с самого начала. В первую минуту он усомнился, тот ли это мальчик, но имя и пятно на щеке подтвердили, что это тот.

В одну зимнюю ночь, когда особенно свирепо падали бомбы с темного, закрытого тяжелыми снежными тучами неба, команду, где работал Тимофей, вызвали к дому, который только что обвалился. Бомба попала в самую середину, и теперь в темноте чернел какой-то фантастический остров со многими перепутанными железными балками, и люди с фонарями рылись в горах мусора, искали засыпанных.

Сначала Тимофей работал наверху завала, но потом его позвали вниз, и комиссар штаба района, внимательно посмотрев на него при свете «летучей мыши», спросил, решится ли он отрыть заваленного в нижнем этаже мальчика. Они подошли к черной дыре, откуда был слышен далекий слабый голос. Взрослому лаз был слишком узок. Тимофей надел каску, взял пилу-ножовку, молоток, зубило, топор и карманный электрический фонарь.

Он полез в дыру. Он твердо знал, что вернется с мальчиком, но для оставшихся это было вопросом. Завал стал оседать. Комиссар приказал прекратить верхние работы, и люди столпились внизу, возле лаза, по которому отправился на поиск Тимофей. Они ходили перед лазом, снег скрипел под их ногами, они переговаривались тихими голосами, и только комиссар с фонарем время от времени кричал в дыру, окликая Тимофея.

Три часа шаг за шагом полз Тимофей по узкому проходу, обдираясь о поломанную проволоку, гвозди и острые кирпичи. Он дополз до мальчика; лежа на спине, разобрал над ним кирпичи, освободил ему руку, дал ему фляжку с водой. Сил у Тимофея больше не осталось. Он осветил фонариком вокруг себя, чтобы точнее запомнить местоположение и все приметы, и пустился в обратный путь. Когда он выбрался из завала, он был мокрый от пота, как крыса под дождем.

Он отдыхался и снова полез отрывать мальчика. Так он работал еще шесть часов. И он отрыл мальчика. Когда он снова появился на краю лаза, выволакивая за собой спасенного, он не мог сказать ни слова от изнеможения. Он только слушал, как гудели вокруг люди, как кто-то сказал, хлопая его по плечу:

— А и силен ты, батюшка! Молодец!

Он слышал, что мальчика называют Шурой Никитиным. Он набрался сил подойти к нему только тогда, когда его уже положили на носилки,



— Присядь-ка на минутку, — сказал Тимофей, — если не торопишься.

чтобы увезти в больницу, и при свете фонаря он увидел бледное лицо с большим кофейным пятном на щеке. Только это он и запомнил. Надо было продолжать работу — имелись другие, еще не извлеченные из-под обломков. И уже мельком Тимофей увидел сквозь пролом в стене, как санитарный автомобиль завернул за угол дома и скрылся из виду.

И сегодня здоровый Шура Никитин прошел мимо него с удочкой. Тимофей не мог не остановить его.

...Прошло несколько дней. Во время перерыва Тимофея позвали в контору цеха. Едва переступив порог, он заметил Парфения Ивановича с толстой самокруткой в зубах.

При виде Тимофея тот широко улыбнулся и сказал:

— Все живешь, старина! Принимай пополнение.

Позади него, прикрываясь его широкой спиной, стоял Шура Никитин. Тимофей отлично его видел.

— Спасибо, Парфений Иванович, — сказал Тимофей. — Я все живу, верно. Пополнение приму.

И тут же при людях, наполнявших контору, Шура сказал:

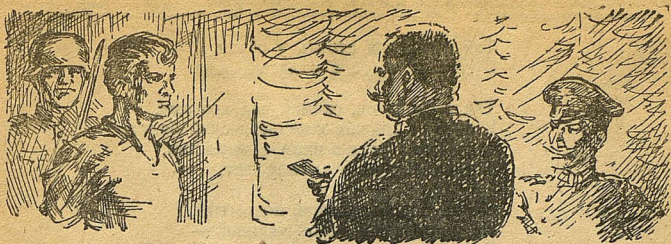
— А что же ты скрыл, что ты Скобелев, который меня от смерти спас? Я ведь тебя не узнал. Прости, честное слово! Тогда видел тебя в потемках, а потом мы с тобой так изменились с зимы-то. Ты вот узнал меня, а я нет. Как вот ты меня на улице узнал?

Но Тимофею было стыдно сказать, что узнал он его по кофейному пятну на щеке. Он застеснялся, что-то пробормотал в ответ и пошел из цеховой конторы. За ним шли Шура и Парфений Иванович.

И, когда они вошли в цех и перед ними раскрылся прохладный светлый зал, наполненный отсветами станков и блестками металлических стружек, Тимофей сказал Шуре:

— Что было, то прошло. А вот тут, брат, уж мы поработаем вдвоем! — И он жестом хозяина и мастера положил свою маленькую крепкую руку на холодную сталь станка.





Арк. Кулешов

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Молча стоял он. Конца нет допросу.
Снова пытали — ни слова в ответ.
Немец-жандарм, докурив папиросу,
Подал ему комсомольский билет.

— Вот и билет твой, — с усмешкой сказал он, —
И от него на глазах у людей
Ты откажись; остановка за малым, —
Жить остаешься, ведь жизнь-то милей!

Что в нем корысти? А день-то как светел!
Книжку сожги — не осудит народ.
— Нет, не сожгу, — комсомолец ответил, —
Пусть лучше пуля мне сердце сожжет.

— Не соглашаешься? Очень жалею.
Брось ее в прорубь. Какая беда!
— Нет, лучше сам от воды онемею,
Нет, я не брошу билет никогда.

— Ладно. По-твоему будет. — На этом
Длинный и скучный окончен допрос,
И паренька с комсомольским билетом
Гонят босого на лютый мороз.

Там он, облитый студеной водою,
К сердцу билет комсомольский прижал,
Словно билет под струей ледяною
Сердцу его остывать не давал.

Так и стоял он — горя, не сгорая,
Долго по телу стекала вода.

Так и остался стоять у сарая,
Будто из чистого отлитый льда.

Так и стоит он, смеясь над врагами,
К сердцу прижав комсомольский билет,
И не прощается с нами, с друзьями,
И простоят еще тысячу лет,

Но не корой ледяною покрытый,
Но не облитый водой ледяной —
Бронзой окованный, солнцем облитый,
Будет он вечно стоять, как живой.

Перевод с белорусского М. Петровых.

БАЛЛАДА О ЧЕТЫРЕХ ЗАЛОЖНИКАХ

От большой дороги в сторонке
Их ведут четырех из дому.
Лет четырнадцать старшей девчонке,
Третий год пареньку меньшому.

Вместе с ними в подвал холодный
Гонят тетку, сестру Миная.
А Минай — это батька их родный,
Батька родный,
Мститель народный.

Пишут немцы о нем в газетах,
О его отряде,
Бригаде
И приказы в былых сельсоветах
Порасклеили страха ради.

Со столбов, со стен на светлицах
Угрожают Минаю напасти:
Должен он покориться,
Явиться,
Сдаться в руки немецкой власти.

И висят те приказы всюду —
На Минаевой хате и клетки:
Коль не сдается — расстреляны будут
На рассвете
Заложники-дети.

И в подвале дети Миная
Ожидают смертного часа.
С ними вместе тетка родная —
Скорбной лаской глаза лучатся.

Мальчик спрашивает у тетки,
Все он хочет узнать, проверить:
Почему на окнах решетки?
Почему часовые у двери?

Скоро ль батяня придет за ними?
— Скоро, — тетка в ответ ему, — скоро...
Поведет нас полями родными,
Поведет на волю
По полю...

— Что же нет его? Ночь коротка,
Часовые у двери стучатся.
— Спи, усни, — утешает тетка
В ожиданьи смертного часа.

А когда задремал он, детям
Тетка правду сказала — не скрыла.
Лишь мальчиш не узнал, что с рассветом
Ожидает их всех могила.

— Вы, смотрите, ему не скажите, —
Наставляет
Детей Миная.
Снится мальчику тропка в жите,
Тропка к дому,
К селу родному.

Сын во сне беспокойно дышит —
Это снится
Темница
Сыну.
— Тут и мокрые стены и мыши.
Ты забыл нас, отец... покинул.
Может, ты заблудился где-то —
Немцы слева, а волки справа?
— Спи,
Отец не придет, на это
Нет ему отцовского права.

Ночь проходит,
Солнце всходит.
Жаворонки запели в поле.
Вот солдаты
Ведут куда-то.
Мальчик рад и солнцу и воле.

У глухой стены остановка.
Взял на мушку солдат ребенка.

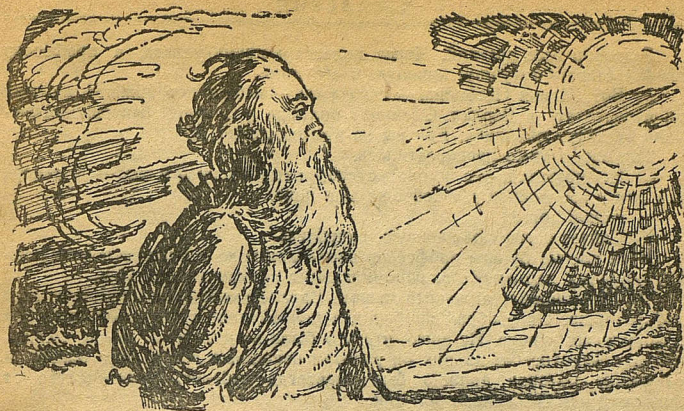
Выстрел..
Сникла льняная головка,
И прижалась к груди ручонка.

Вновь солдат пистолет поднимает,
На стене — заложников тени.
Вот и все.

.....
Перед батькой Минаем
Встаньте, все отцы, на колени.

Перевод с белорусского Н. Рыленкова





В. Каверин

ПОЯС

— Немцы оставляют после себя руины, — сказал мой друг, капитан медицинской службы, — но, проходя по улицам разбитых городов, я думаю не об этих камнях, которые были домами. Новые великолепные дома станут на месте прежних. Взгляните, с какой энергией, с какой страстью работают наши люди в Харькове, Орле, Ростове. Я думаю о людях. Вот где я вижу потери глубокие, невозвратимые. Кажется, я рассказывал вам историю профессора Снежкова?

— Нет.

— Это был известный на юге ученый-бактериолог. Разумеется, я ничего не понимаю в этой науке, но было известно, что он работает в области невидимых микробов, то есть невидимых даже под микроскопом. Целый мир незримых существ был открыт им, и он чувствовал себя в этом мире полным хозяином. Недаром я слышал однажды, как в обществе врачей его называли гениальным ученым. Он был знаменит, и у него была внешность знаменитого человека. Вот моя рука, — капитан показал свою широкую, крепкую руку, — она тонула в его огромной лапе. Он был величествен со своей седой шевелюрой, с высоким лбом, с грозными взлетающими бровями. Человек свободного, открытого характера, он так и жил — широко и открыто. Студенты обожали его.

Он был болен, когда немцы заняли город, и не успел уехать. Не прошло и недели, как легковая машина остановилась у его дома и какой-то человек в штатском поднялся по лестнице и на хорошем русском языке спросил, не может ли он видеть профессора Снежкова.

Разговор был краткий. Через полчаса машина уехала, а профессор позвал старую тетушку, жившую в его доме.

— Вот, Мария Петровна, — сказал он, — немцы спрашивают, не хочу ли я переехать в Берлин. Обещают полмира и лучший бактериологический институт впридачу. Как вы на это смотрите? А?

Тетушка только перекрестилась.

— Не нравится, — с удовольствием отметил профессор. — А теперь вот что я вас попрошу: шейте-ка мне пояс.

— Какой пояс?

— Сейчас я его вам нарисую, голубчик.

И на клочке бумаги профессор нарисовал пояс с множеством маленьких круглых карманчиков, напоминающих газыри на черкеске.

Он сам уложил заплечный мешок. Едва стемнело, он прошел в свою лабораторию. Он отобрал пробирки с ценнейшими культурами микробов и вложил их в пояс. Не знаю, что это были за культуры. Знаю только, что над некоторыми из них он работал несколько лет и был близок к открытию, которое должно было навсегда избавить человечество от эпидемий одной злейшей болезни.

Вернувшись, он с помощью тетушки надел на себя этот пояс.

— Я у немцев отпрашивался подумать, — сказал он ей. — И завтра в полдень обещан ответ. Приедут, объявите, что больной, лежу в припадке. Ну, а ворвутся, ничего не поделаешь. Скажите, что просил кланяться, не помирать лихом.

Поздней ночью он вышел из дому. План у него был простой — скрыться на время в одной деревенской семье, а потом найти партизан, переправить с ними драгоценный пояс через линию фронта.

Недалеко ушел он за ночь. Недавняя сердечная слабость давала себя знать, да и не в тех он был годах, чтобы шагать с мешком за плечами по дорогам. С зарей он залег в пшенице, и какой прекрасной показалась ему эта зеленая, с капельками росы на усиках молодая пшеница...

Уверенность в том, что все будет прекрасно, что не попадет в немецкие лапы его труд, вдруг овладела им. Одно было плохо: всю жизнь он спал на правом боку, теперь он должен был постараться уснуть на спине. И он уснул на спине, глядя в розовеющее откуда-то издалика высокое небо.

На другую ночь он подошел к знакомой деревне. Он не нашел ее. Почернелые стояки торчали здесь и там, указывая места, где прежде находились избы. Деревня была сожжена и, как видно, недавно, потому что дымок еще пробивался кое-где среди обугленных бревен. Нужно было двигаться дальше. Куда?

Вот когда началось его путешествие. Тысячи опасностей лежали на его пути, но он шел от вечерней зари до утра — на восток, где была его жизнь.

Он шел, и одежда, в которой он покинул свой дом, постепенно превращалась в тряпье. Пыль набилась в его седую гриву. В одной деревне он променял свои изношенные ботинки на лапти, в другой — пиджак на заплатанную толстовку. У него отросла борода, косматая, седая, взгляд из-под насушенных бровей стал укоряющим, грозным, и когда, стуча палкой, он появлялся на деревенской улице, старухи робели и крестились.

Хотите верьте, хотите нет — но и немцы боялись его. В селе Мягкое обозные солдаты задержали его и отвели к коменданту. Остренький немчик, нервный, с усиками, налетел на него — и осекся, когда старик

поднял на него спокойные и страшные в своем равнодушном покое глаза.

— Какой экземпляр! — сказал комендант другому немчику в очках. — Бегите за вашим аппаратом, Вилли! Русский нищий! Любая газета охотно напечатает подобное фото.

Они сняли его, и единственный в своем роде портрет известного ученого появился в фашистских газетах как новое доказательство дикости и бедности русских.

Убедившись, что перед ними профессиональный нищий, немцы отпустили его. В другой раз мотоциклист, у которого отчаянно фыркала, но не трогалась с места машина, подозвал его свистом, как собаку. Профессор подошел. Очевидно, наружность его показалась подозрительной солдату. Не слезая с машины, он дернул его за бороду.

— Сам бог, — сказал он, захохотав, и, уверившись, что борода настоящая, приказал профессору подтолкнуть мотоциклет. Через минуту машина исчезла в пыли.

Уже кончилась степная полоса с ее зеленым простором без конца и края. Уже пошли леса. Орел был недалеко. Теперь, просыпаясь, профессор вставал с трудом, немела спина. Ноги давно были разбиты в кровь, сердце болело, и боль была плохая, с отдачей в левую руку. Как-то он присел у ручья и очнулся от холода, от странного чувства, как будто кто-то ледяной рукой давит, разжимает его глаза. Он лежал головой в ручье — должно быть, упал, потеряв сознание.

Как случилось, что при падении не разбились его пробирки, этого он и сам не мог объяснить. Но пояс, пропитанный потом, замучивший его драгоценный пояс был цел — недаром тетушка простегала карманчики-газыри ватином.

— Плох стал... — сказал он себе поднимаясь.

И вот наступил день, когда он почувствовал, что кончается его путь. Он испугался. Но не оттого испугался он, что останется лежать в глухом лесу со вздернутой седой бородой. И не оттого, что никто не закроет его глаза, видевшие так много. Он испугался, что вместе с ним пропадет его труд, который был нужен людям.

Не скрываясь более, он днем зашел в большое село. Он узнал, что здесь сохранилась больница и что докторша хотя сама больна, но принимает больных.

— Здравствуйте, доктор, — сказал он, дождавшись своей очереди и войдя в комнату, где сидела худенькая женщина в белом халате.

— Здравствуй, дедушка! Откуда?

— Издалека, — сказал профессор и сел. — У меня к вам секретное дело, доктор. Я вас не знаю, но вы — русская и врач, этого достаточно. Дело в том, что...

Вечером, умытый и причесанный, он сидел в чистой избе с вышитыми полотенцами на стенах и рассказывал, рассказывал без конца. Перед ним стояла тарелка с жареным картофелем, и то, что можно и даже нужно было брать этот картофель вилкой, казалось ему странным сном, который может исчезнуть в любую минуту.

Решено было, что он останется у доктора Клитиной на несколько дней. Это было рискованно: немцы присматривались к ней, и подлец староста не раз подъезжал к ней с разговорами. Больные видели, как профессор прошел к ней, как она проводила его к себе домой из больницы. Но делать было нечего — разве что оставить у нее пояс и уйти. При первой опасности так решено было сделать.

Он проснулся ночью в чулане и несколько минут лежал, не открывая глаз и сонно прислушиваясь к тому, что разбудило его. Это был шорох, шопот где-то очень близко, за стеной, на дворе. Чулан был дощатый, в пристройке, и ему показалось, что слабый свет мелькнул между разошедшихся досок.

Он приподнялся на локте. Потом встал. Негромко постучали в окно. Полоска света появилась под дверью. Хозяйка, держа свечу, вышла в сени. Она спросила:

— Кто там?

И, прежде чем со двора успели ответить, он понял, что пришли за ним. Не торопясь, он снял пояс. Отодвинув сложенную в углу рухлядь, он осторожно положил пояс на пол, загородил его сломанными козлами и завалил всем, что попало под руку. Потом вышел.

Что было потом, он помнил неодинаково ясно, хотя находился, как ему казалось, в полном сознании. Его повели куда-то, он споткнулся, упал и сразу стал вставать, потому что на земле его били ногами. Какие-то мешки стояли в избе, где сидел комендант, должно быть прежде здесь помещалось сельпо. Комендант почему-то приказал раздеть его, и он долго стоял голый, стараясь справиться с болью, которая все отдавала от сердца в левую руку. Но вот он очнулся. Немцы кричали на него, громко переговаривались. Он послушал и вдруг заговорил сам на немецком языке.

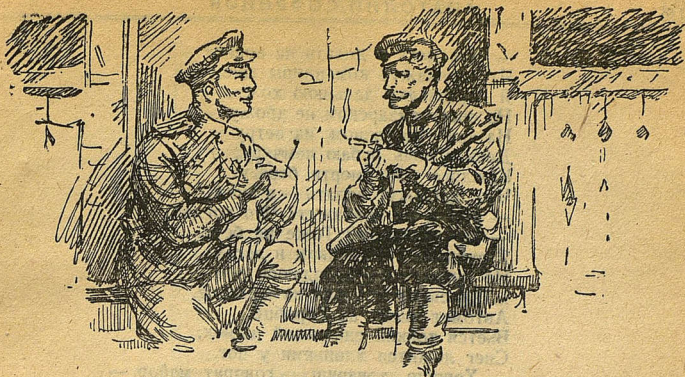
— Чем вы грозите мне? — с презрением спросил профессор. — Вот я стою перед вами, голый человек, — и ничто передо мной все ваши танки и пушки. Потому что я — мысль человеческая. Я — Россия. Убить вы хотите меня, немцы? Руки короткие. И убьете, да не убьете. Я плюю на вас, дураки.

Он не плюнул, а гадливо выпустил на пол слюну.

Заподозрив в нем видного деятеля партизанского движения, немцы отправили его в Орел. Три месяца он пролежал в грязном подвале среди других умирающих русских. Там мы и нашли его. Он был еще жив, когда мы подняли его из подвала и на руках отнесли в больницу. Первое, что он сказал, придя в себя, — это было название села, в котором он оставил свой пояс. И пояс был найден и с нарочным доставлен к нему.

Он умер второго сентября, оставив своим ученикам подробные указания о том, в каком направлении нужно продолжать работу. Второго сентября — когда-нибудь все академики мира будут отмечать эту дату! Перед смертью он рассказал то, что вы слышали от меня. Я не прибавил ни слова... Я часто вспоминаю о нем, — закончил капитан. — И он представляется мне не тем уважаемым всеми, почтенным, красивым старым профессором, каким я знал его до войны. Нет, я вижу его в лаптях, в посконной рубахе, с развевающейся седой бородой. Вот он шагает по дороге, стуча палкой, глядя вперед из-под насупленных косматых бровей...





Анатолий Софронов

ГОРОБЕЦ

Вызывает командир полка
Для беседы к штабу казака.
И приходит тот в крестьянский двор.
— Здравствуй, — говорит ему майор.
Руку жмет гвардейцу командир. —
Фронт тебя за доблесть наградил.
Орден боевого знамени к лицу
Казаку-гвардейцу Горобцу.
Ты кубанец?

— Не кубанец, я — донской,
Из станицы из придонской, из Чирской, —
Отвечает, как положено, казак
И не знает, что еще сказать.
Просит дать майор ему ответ:
— Что ты можешь делать, а что нет?
— На войне?

— Конечно, на войне.
А в «гражданке» для чего ж ты мне?.. —
И садятся оба на крыльце.
Автомат висит на Горобце.
Подбирает Горобец ножны,
Расправляет синие штаны,
Угощает командира табаком,
Зажигает спичку белым огоньком.

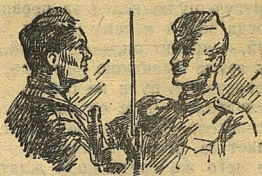
— Что могу я делать на войне?
Что прикажут командиры мне.
Я в разведку дальнюю хожу,
На снегу январском не дрожу.
На снегу морозном, на ветру
День и ночь рубаю немчуру;
Каждого для смерти берегу.
Что прикажут делать — я могу.
— Ну, а не прикажут? Что тогда?
— Не прикажут? Тоже не беда.
Я привык и к тропкам и лесам.
Не прикажут — догадаюсь сам. —
...Так сидят и курят на крыльце.
Автомат висит на Горобце.
Вьется тонкий синенький дымок,
Снег ложится хлопьями у ног.
— Хорошо, товарищ, — говорит майор, —
Что не можешь делать, не сказал ты до сих пор... —
Видя, что беседе не конец,
Отвечает командиру Горобец:
— Не могу... а вот что не могу:
Не могу обиды я прощать врагу...
Не могу, где б ни было, не петь,
Не могу без пользы умереть. —
...Поднимается майор с крыльца,
Взор не сводит нежный с Горобца.
— Ты сегодня в тыл опять пойдешь
И деревню Гуково возьмешь.
В помощь я даю тебе троих,
Самых что ни лучших, боевых.
Так возьмешь? — глядит в глаза ему.
Отвечает Горобец:
— Возьму!

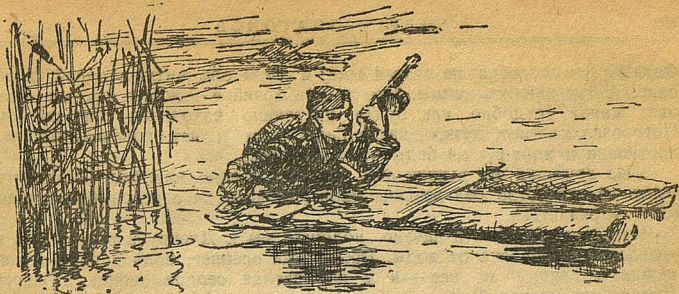
ДУБОК И ГРАЧЕВ

В отделение ефрейтора Дубка
Прибыл с пополнением новичок...
И спросил ефрейтор новичка:
— Как твоя фамилия?
— Грачев.
— Ты вблизи фашиста не видал? — Не видал.
— Ты в него с винтовки не стрелял? — Не стрелял.
— Так, — сказал Дубок, — ложись и спи,
Слышишь, ветер воет во степи... —
Лег Грачев на землю и уснул,
Под себя шинельку подвернул.
Спал Грачев, дремал ли, или нет,
Только видит он — уже рассвет;

По-над степью солнца ободок...
Ходит между вербами Дубок,
Говорит Грачеву: — Ну, вставай! Подъем.
Нынче в бой за хутор мы пойдем.
Ты свою винтовку осмотри,
Оружейным маслом ты ее протри. —
...Час атаки скоро настает —
Отделение в бой меж вербами идет.
Впереди за речкой — хуторок,
И к нему ведет товарищей Дубок.
Травы под ногами шелестят,
Пули по-змеиному свистят.
Вдруг ефрейтор видит: новичок,
Будто в лихорадке, занемог.
Кланяется пулям на ходу,
Будто жнет на поле лебеду.
Свистнет пуля — голову нагнет
И другую пулю вслед за первой ждет.
И тогда бежит к нему Дубок.
— Эй, — кричит он, — не робей, дружок!
Ты к земле былинкою не гнись,
Ты свистящей пули не бойсь.
Просвистела — чорт ее найдет,
Просвистела — значит, не убьет.
Убивает та, что не слышать.
А ее чего же среди поля ждать —
Может, пролетела где она давно,
Ты ж ее не слышишь все равно.
Ну, давай, — махнул рукой Дубок,
Побежал за ним по травам новичок.
Мины засвистели — лег Дубок,
Рядом с ним, за кочкой, — новичок.
Встал Дубок — поднялся новичок...
— Бей германца! Так его, браток! —
...Вот и хаты, вот и хуторок.
Посмотрел Дубок, а где же новичок?
Видит — немца колет на возах:
— Ну, давай... давай... Входи, браток,
в азарт! —
Рушит немца на землю приклад,
Сразу видно — русский бьет солдат...
Что там покололи немца в хуторке,
Что там потопили германов в реке!
Сколько раз считали — всех не перечесть,
Те, что под водою, — чорта их найдешь...
...Немец пулей новичка ожег, —
Перевязывал Грачева сам Дубок.
Перевязывая, он его спросил:
— Ты до фронта в обученье был?
— Был.
— Как вести себя в бою, ты изучил?
— Изучил.
— А чего же пулям ты поклоны бил?

- Как услышал пули, все забыл.
— А теперь?
— Теперь наоборот...
— Что другому скажешь, коли к нам придет?
— Я скажу: «Ты к земле былинкою не гнись,
Ты свистящей пули не бойсь.
Просвистела — чорт ее найдет,
Просвистела — значит, не убьет.
Убивает та, что не слышать,
А ее чего же среди поля ждать, —
Может, пролетела где она давно,
Ты ж ее не слышишь все равно».
— Правильно, — сказал ему Дубок, —
Ты боец теперь, не новичок!





Андрей Платонов

ЧЕРЕЗ РЕКУ

РАССКАЗ ПЕХОТИНЦА

Мы шли из резерва маршем к верхнему Днепру. Шли мы напрямую по полям, где немцы посадили мины, но обходить те поля далеко было, потеря же времени нам не разрешалась. Впереди нас разведкой шли минеры и давали нам направление, а все-таки идти так было мало удобно, и к вечеру мы утомились от своей осторожности. На ночь мы стали на постой в деревне Замощье; там осталось всего четыре двора, а прочие хаты все сгорели дотла.

Замощье, помню, расположено было на доброй земле; хаты стояли на возвышенности, но не крутой, а на отлогой, и оттуда был виден людям весь мир, где они жили. Суходольные луга начинались внизу у той возвышенности, потом обращались в поемные и уходили ровным местом до самого Днепра-реки, верст на десять или более, и от ровности той земли и большой дальности ее на взгляд казалось, что пойма восходит вдалеке к небу и Днепр светит выше земли. Сладких кормовых трав там рождается, сколько скотина поест, и в зиму можно готовить кормов на любое поголовье, сколько хватит крестьянского усердия. И самая поздняя отава, я слышал, там тоже не кислой бывает, — значит, там почва хорошо умеет солнце беречь. Но тогда, хоть уж октябрь месяц был, весь травостой на лугах цельным стоял — народ обезлюдел, и мины в траве смертью лежали.

Я с прочими бойцами стал на ночлег в крайней хате, что целая была, а еще три целых хаты были подальше. Мы поместились в сенях на помостях, и тут же, в сенях, за дощатой обмазанной стеною была закутка для коровы. В хате помещалось семейство — женщина-крестьянка, красноармейская вдовца с четырьмя малыми детьми. Муж ее скончался от ранения еще по началу войны. Женщине что же дальше делать, раз четверо детей при ней, надо выхаживать их. Все дыхание у нее было при корове — без коровы ей с детьми гибель. Женщина

была на ум способна, не старая еще, и стала она жить на одной своей силе. А тут явились немцы. Что делать хозяйке — живет она при немцах; живет неудобно, как будто постоянно находится при смерти. Погоревал я — вот, думаю, какая беда была и как хорошо, что мы наступали и вдовицу из беды этой выручили.

...Из Замощья мы вышли еще затемно. Жалко мне было оставлять опять на сиротство без хозяина двор вдовицы, да с неприятелем надо было управляться.

Чуть только светать начало, подошли мы к Днепру и притаились в травостое, невдалеке от воды. Время уже осеннее, вода в реке серая, неживая, глядя на нее — и у нас заходя сердце забьет. Поперек Днепра тут метров более ста будет и место глубокое, а на правом берегу круча отвесом стоит, туда нам и надо выходить было. Я думаю-сообразжаю и вижу правильно, что нам как раз здесь переправу нужно делать. Выше и ниже по течению места для переправы удобнее и спокойнее будут — там река шире, значит глубина мельче, и правый берег отложе, но там и немцы нас ждут: они все время стреляют контрольным огнем по тем речным местам, а покажись мы там — накроют пламенем, дыши тогда в промежутки... На войне кто умней, тот думает не по обыкновенному разуму: где пройти нельзя, там и есть дорога, где плохо — там хорошо.

Командиром роты у нас был старший лейтенант Клевцов, хороший человек и настоящий офицер, а сам тоже вышел из рядовых бойцов. Когда у бойца есть офицер, солдат при нем как в семействе живет, он воюет себе и чувствует, что в деле рассудок есть, а в роте старший человек с общей заботой живет — офицер, он и тужит обо всех.

Травостой был хорош, но не век нам было в нем сидеть. Командир роты обошел наше расположение, проверил знание задачи отделениями и поговорил с нами понемногу. Мы заметили, он добрел на тело в боях, полнее становился, у него богатое настроение духа делалось. Значит, правда была, что он говорил.

— Кто на войне за отечество, — говорил наш командир, — тот счастливый человек. Ты хлеб бывало в поле по волоску растишь, чтоб семейство твое сыто было, чтоб государство стояло, и то доволен был. А тут ты сразу от смерти весь народ спасаешь — от этого ведь сердцу радость, и счастливей ты не будешь нигде, как в бою, и сто лет проживешь — не забудешь, как был солдатом. Раз ты спас родину, это все одно, что ты вновь сотворил ее.

Наш командир рассудочный был офицер: все понимал, что внутри и снаружи.

— Переплывешь речку, Кузьма? — спросил он у меня тогда на Днепре. — Ты как плаваешь-то?

— Переплыву, товарищ старший лейтенант, — отвечаю я. — Плаваю я плохо, а плыть надо — надобность большая.

— Правильно, — сказал командир.

Не знаю, вышло ли так по плану и расчету наших командиров, или по случаю погоды — получилось, однако заволокло реку, землю и небо туманом — как раз тож нам и требовалось. Настала ни тьма, ни свет, и видно и неприглядно — такой туман ни прожектор, ни ракета, ничто насквозь не возьмет.

Выждали мы приказа. Сам командир роты нам вблизи появился; он улыбается и говорит нам:

— Пора, товарищи бойцы, и на ту сторону Днепра! Впереди у нас

саперное подразделение — саперы врубят лаз на кручу... Не бойтесь воды — кому холодно будет, пусть помнит: зато позади него всей нашей России тепло!..

И верно так! Вошли мы в воду и поплыли по силе-умению, и ничего с нами особого не стало; сначала только охолодали, нагревшись на воздухе. А потом мы притерпелись к прохладе и от тяжести одежды согреваться в работе начали. Но туман кругом садился на нас серой гущей, ничего не видать было и глухо стало окрест, будто спокон века и свет не светил, а все была муть. Плыдем мы, за бревна держимся, автоматы не мочим: я его сберегу, он меня спасет. Плыдем мы далее вперед, а того берега все нету. А уж по времени, по нашему терпению пора бы тому берегу Днепра быть. Чувствуем, что течение вниз нас сносит, но мы стараемся упредить его, на что тоже во времени и силе потеря идет, но мы терпим как следует. Возле меня Самошкин и Селифонов плывут, тоже люди из нашего отделения. Самошкин так чуть спереди меня держится, и я по нему лавирую, а Селифонов маленько отстаёт, он мне не приметя. А тело уже стыть до костей начинает, давно мы в воде, шинель на железную стала похожа и вяжет туловище саваном.

— Плыдем на крутой берег! — услышал я голос Самошкина. — Я теперь к туману привык и направление знаю!

Мы выплыли с ним к отвесному правому берегу, но не враз нашли место, где можно было выходить, а еще долго плыли навстречу течению у мокрой глиняной стены того берега.

Поднялись мы на сушу и опять собрались все вместе в целости.

Наш командир старший лейтенант товарищ Клевцов осмотрел нас каждого.

— Ничего, — говорит, — мы на ветру обсохнем. Вперед!

И мы побежали по сухоходльному лугу в неприятельскую сторону. А видно было спереди шага на четыре, не более. Но командир наш знает, что у нас будет впереди, и боец с ним спокоен, с ним мы до самой нашей границы бежать вперед согласны.

Глядим, туман вокруг нас клочьями пошел и видно стало вперед гораздо далее. Солнце, стало быть, на небе в силу вошло и поедает туман.

Командир остановил нас, разведаль местность, поговорил, что нужно, по радио и велел нам вкопаться в грунт.

Мы расселились своей ротой в кустарнике по склону широкой балки, но прожили там недолго. Впереди нас, вверх по балке, оказались немецкие укрепления, и правый их фланг был в торфянике, где прежде жители копали торф.

— В воде мы с вами, дорогие мои, нынче спозаранку воевали, — сказал нам наш командир роты, — а в эту ночь мы будем в огне сидеть и из него бить врага!..

Мы тогда не сообразили его слов, а я подумал: хорошо, что мы уже на этом берегу.

День отстоялся погожий; после обеда нас побомбила авиация — шесть «хейнкелей», но бомбили они наспех, понизу не ходили, и мы прожили без потерь. А к вечеру, к сумеркам, наша артиллерия с левого берега стала бить по немецким укреплениям, и уж была она расчетливо, каждый снаряд укладывала по живому месту, чтоб не зря пушки шумели. Торфяной площади тоже досталось огня. Торфяник почти сразу зачал от нашей артиллерии, там в залежи начался пожар. Это, стало

быть, наш командир приказал нашей артиллерии такой огонь — где на сокрушение, а где на поджог.

Однако ночи мы не дождались. Пришел приказ, что нужно тут же, после артиллерии, итти на пролом укреплений неприятеля и другие роты нам идут вслед через Днепр на подмогу.

Командир роты ставит задачу — немедленно занять тот торфяник, что горит в земле перед нами; в середину немецких укреплений пойдут наши танки, а за ними прочие наши пехотные подразделения, нам же не что иное, как надлежало занять немецкий фланг, торфяную залежь.

Поглядели мы, куда нам итти. До залежи было километра полтора; пройти, конечно, можно — тут и кустарник кое-где по балке рос, а где в рост итти нельзя — у солдата живот шершавый, можно и на животе ходить. Пройти местность можно, но в торфе пожары горели, и теперь, когда чуть стемнело, явственно видно было красное пламя, которое языками выходило из очагов земли, а над всею залежью чад стоял. По местности мы пройдем прохладно, а далее, как отвоюем торфяник, так там в огне нам нужно сидеть. Командир товарищ Клевцов сам угадал наше недоумение и сказал нам, что мы зря угара боимся: это немцы там, должно быть, угорели и уползли оттуда, но мы нарочно так сделали, чтоб они освободили нам дорогу далее вперед.

— А вы, товарищи, — сказал нам офицер, — вы меня знаете; вы в том огне гореть не будете и в торфяном чаду не угорите... Я сам пойду вперед, я научу вас, как надо там дышать. На торфе едва ли теперь немец остался, мы займем залежь, как пустое место, и облегчим себе и всем другим подразделениям общую боевую задачу...

Мы молчим и слушаем, мы уже понимаем кое-что и делаемся довольными: каждый ведь человек имеет сознание, и он радуется, когда торжествует ум. Тогда и дураку видно, что он тому разуму тоже родня, хоть и дальняя.

— Слушайте меня, — говорил командир. — Огонь поедает воздух, он кормится им, огонь без воздуха не горит. Огонь сосет к себе понизу чистый полевой воздух, и каждому из вас нужно найти себе место, где дышится безвредно и можно терпеть. Там и следует находиться. Можно покопать саперкой и дать воздуху проход свободней — пусть пожар в торфе горит сильней, а ты прильни к потоку воздуха, как к ручью, и дыши вольно. Жарко будет — раздеться можно, обсушимся зато! И в огне можно жить.

— Товарищ командир, — обратился связной, — по радио передали: «Сирень цветет!»

Командир дал команду — изготoвиться к атаке.

Вышло правильно по расчету нашего командира. Мы прошли свободно до самой торфяной залежи, и встречного огня оттуда не было. Зато трудно нам было миновать угарный дым на подступе к торфу, и мы там ползли низом, где шел чистый воздух на питание огня.

Торфяник горел большими очагами, как многодворная деревня, было шумно от огня и жутко. Немцы порыли в торфе траншеи, и по дну их шел к огню свежий воздух из чистого поля, а чуть выше измором курился дым и чад. С непривычки нам было жарко... Пробыли мы там, должно быть, так до полночи. К тому времени к нам еще целый батальон с левого берега подошел и тоже залег с нами. Немцы стреляли редко. Они думали: кто в пожаре, в огне и в дыму, будет жить! А мы жили, жили, конечно, трудно, не по правильности, а по военной надоб-

ности. К утру бы мы, пожалуй, тоже все угорели, но командир не морить нас туда привел.

В полночь нам велели подыматься. Задача нам была взять штурмом главное немецкое укрепление в этой местности. К этому часу бой уже гремел по всему району и небо дышало заревом от залпов пушек; там уже бились в наступлении наши части, а мы пока стояли тихо.

По цепи нам передали слова командира: «Вперед, нас немец отсюда не ожидает. Направление, дескать, такое-то, а там — вослед танкам. Отдыхайтесь, бойцы, в чистом поле!»

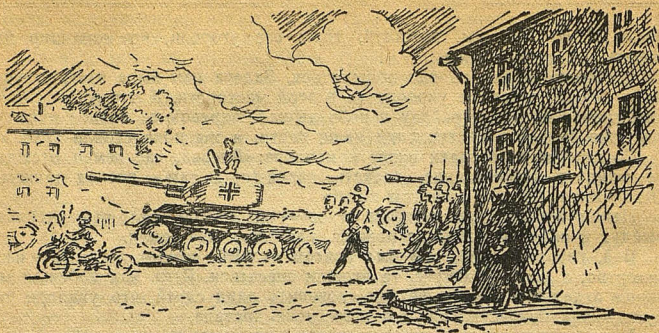
Немец встретил нас слабым огнем — он не ожидал, что русские выйдут к нему на фланг из пожара, где тлела вся земля.

Бой, говорили мне, там был совсем скорый, немцы легли от нас замертво, а какие похитрее, те отошли спасаться. Я-то, как побежал за своим отделенным — мы хотели проверить один сарай, что увидели на пути, — так почувствовал, что пуля меня достала.

Меня ранило тогда в грудь насквозь, но насмерть пуля ничего внутри не тронула, а повредила только холостые места. Однако пришлось болеть, потом выздоравливать. Я тогда соскучился.

Из госпиталя, как шел обратно, в свою часть, я заходил в Замошье, к вдове. Корова ее телушкой отелилась, дети живы и здоровы, сама хозяйка тоже ничего живет и видом подобрела. Чего ж ей — корова отелилась исправно, в деревне теперь покой, в сельсовет она заявление подала, чтоб детям одежду на зиму выдали... Я поговорил с вдовой по душам. Она ответа мне не сказала, стесняется еще, но я понял, что после войны она будет согласна на жительство и на хозяйство со мной. Это ничего — мы обождем. От терпения серьезности больше и дело выйдет надежней, а дети ее при мне сиротами не будут. Она это понимает, она вдовица умная. А на мне две медали теперь и один орден да за войну еще прибавится. И сам я мужик тоже вдовый и не старый еще. Мне во весь добрый свет теперь ворота открыты...





Сергей Васильев

УЛИЦА ЛЕНИНА

Вломились четыре немецких полка
В украинский город советский.
И улицу Ленина, центр городка,
На хмурых людей посмотрев свысока,
Назвать приказали Купецкой.

— Так будет, — немецкий полковник сказал, —
При нашем германском режиме.
Нас фюрер в Россию за тем и послал,
Чтоб новый порядок отныне здесь стал,
Как в Праге, как в Вене, как в Риме.

Нашелся холуй, заскучавший без дел,
Презренный предатель и шкода.
Он быстро достал и олифу и мел
И выполнил бойко приказ, как умел,
Хозяевам новым в угоду.

Весь вечер пришлось ему малевать.
Но утром случилось такое:
Проснулись фашисты — не могут понять:
«УЛИЦА ЛЕНИНА» было опять
Начертано твердой рукою.

А тот, кто вчера получил на пропой
Пять марок в немецкой управе,
Валялся, как падаль, с пробитой башкой,

Найдя себе вечный приют и покой
В большой водосточной канаве.

От злобы завыл комендант-оккупант.
На все нажимает педали.
Приказ за приказом — ловить партизан!
На улице Ленина пять горожан
Без всяких улик расстреляли.

И снова в железной бадье развели
Олифю белые краски,
И вновь маляры мимо окон прошли,
И целую ночь напролет патрули
Ходили во тьме для острастки.

И вновь осажденный рассвет наступал.
И сызнава суриком красным
«УЛИЦА ЛЕНИНА» кто-то писал,
Как будто из камня огонь высекал,
Размашистым почерком властным.

И так повторялася изо дня в день
История эта сначала.
Не знали фашисты иных перемен:
Стирали бессмертную надпись со стен,
А надпись опять возникала.

Ни пытка, ни пули, ни ужас петли,
Ни ярость угроз повсеместных
Бесчинством своим устроить не могли
Испытанных ленинцев русской земли,
Отважных людей неизвестных.

Не могут фашисты виновных найти!
Не могут ходить без оглядки.
Разгневанный Ленин встает на пути,
И вот начинает от страха трясти
Коричневых псов лихорадка.

Тогда палачи, чтоб поправить дела,
Чтоб больше во сне не бояться,
Всю улицу Ленина выжгли дотла,
Чтоб больше уже по ночам не могла
Крамольная надпись являться.

Сожгли палачи и пришли посмотреть:
Сгорели заборы и здания.
Но только ничем невозможно стереть,
Не может на улице гордой сгореть
Ее грозное название.

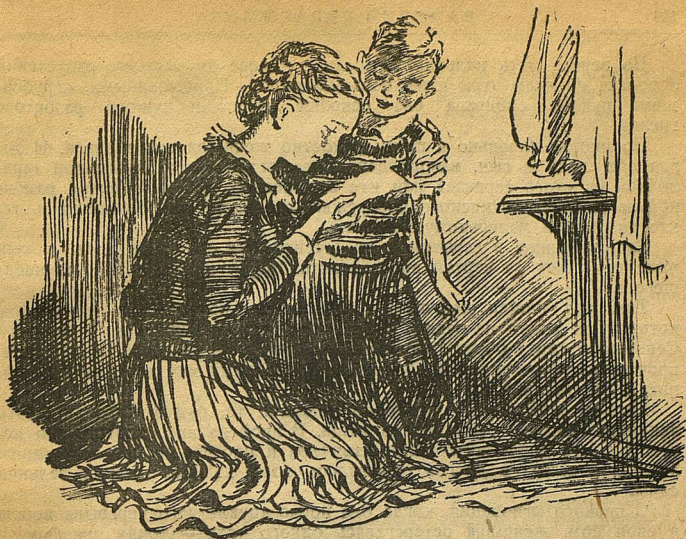
На стенах, облизанных жадным огнем,
На дымной, шерботой панели,

Рожденные свежим, сухим кирпичом,
На каждой железке, над каждым углом
Недавние надписи рдели.

«УЛИЦА ЛЕНИНА!» — рушась от мук,
Черные стены кричали.
И снова окатывал немцев испуг,
И снова враги озирались вокруг,
И снова от страха молчали.

А залпы с Востока росли и росли,
Грозами грозя грозowymi.
...Советские воины в город вошли,
И встретило воинов русской земли
Вождя негасимое имя.





Валерия Герасимова

САЛЮТ

Этот маленький шестилетний мальчик за всю свою недлинную жизнь преодолел расстояние свыше трех тысяч километров, ознакомился с многообразнейшими видами транспорта — от кабины «дугласа» до теплого верблюжьего горба, — подвергался обстрелам из различных видов оружия, ночевал на вокзалах, привокзальных площадях, в казахских юртах, башкирских кибитках, на канцелярских столах и даже в стогах сена, пока наконец не очутился в своей кроватке в Москве.

К счастью, кроватка мальчика не слишком пострадала. И когда ее оттерли от двухлетней пыли, все ее шарики попрежнему весело заблестели. Несравненно хуже дело обстояло с его ванночкой. Два года тому назад она была оставлена в кухне, где его в последний раз купали. В те дни недалеко от кухонной стены упала тонновая бомба, и точно пальцы гигантского сумасшедшего страшно позабавились в этой маленькой комнатке. Да, конечно, восстанавливалось далеко не все: В комнате неизвестно откуда появились также какие-то непонятно возникшие удручающие вещи: треснувший посредине огромный футляр, вероятнее всего от контрабаса, и множество маленьких фарфоровых, очевидно аптекарских ступочек.

До вечера мать мальчика в пыли и мусоре двухлетнего запустения боролась со всем этим страшноватым миром. Пропыленными, огрубевшими руками собирала она осколки своего и чужого разбитого гнезда.

Но иногда тихонько и почти радостно женщина вскрикивала. И тогда оба, мать и сын, взволнованно склонялись над голубенькой тарелочкой из «того сервиза» или над запыленной, но драгоценной рамочкой из ракушек ялтинского побережья, где впервые познакомились те, кто дал жизнь маленькому мальчику.

Запыхавшиеся и серьезные, со стесненными сердцами, мать и сын пытались черту за чертой восстановить доброе и милое лицо прошедшего...

Так, они нашли дедушкину небольшую, но крепкую палочку, с которой он ходил на завод; бабушкины очки, заложенные в повести Сенкевича; карту обоих полушарий с маршрутом чкаловского перелета, прочерченным летчиком Кузнецовым; футбольный мяч дяди Вити и карнавальный голубой нос.

Пальцы женщины то любовно медлили, то, будто отгоняя нечто ненужное, быстро откладывали вещь. В иной из них, добродушно потрепанной, с давно знакомыми изъемами и царапинами, таилось много счастья и света; в другой скрывалось горе великой разрушительной силы.

С первого мгновения, когда она после двухлетнего перерыва вошла в свой дом, женщина остерегалась одного угла — между шкафом и дверью; там обычно висело черное кожаное пальто; кожаное черное пальто летчика. Надо было остерегаться этого угла, потому что надлежало жить, работать, улыбаться, разговаривать, а сейчас вот следовало привести в порядок эту комнату и не думать больше ни о чем.

Но, когда она обметала подоконник, небольшой листок бумаги привлек ее внимание. Женщина поднесла его к близоруким глазам — листок выскользнул у нее из пальцев; она нагнулась, чтобы поднять его, но неожиданным движением просто стала на колени.

«Дорогая Лена!

Прости, что пишу тебе наспех. Но эти мысли, как и чувства, не наспех. Они навсегда. А если и суждено мне исчезнуть, пусть живут так же прочно, так же неизменно в тебе, в дорогом нашем мальчике, в товарищах по боям..»

Я не хочу обманывать тебя и уверять, что все отлично. Идут тяжелейшие бои. С напряжением всех сил мы отбиваем врага от стен дорогого каждому русскому сердцу Смоленска. И все же обстоятельство таково, что, вероятно, нам придется оставить его. Быть может, России суждено потерять и еще многое. Так вот в эти тяжелые дни помни и знай, непоколебимо знай, что не удержаться на советской земле немецкой падали, что и ты и я будем еще свидетелями нашего торжества, что тот, кто любит мыслить и наблюдать, уже сейчас, в муках и тяготах выпавших испытаний прозревает грядущие светлые, радостные дни. Ту достойную человека жизнь, которую мы должны отстоять и отстоим для себя, для наших детей. А за это можно заплатить любой ценой. И к любой цене я готов».

Так заканчивалось письмо, его последнее письмо, которое она в спешке эвакуации, два года тому назад, оставила в пустой квартире... Правда, тогда она еще не думала, что это письмо последнее... И женщина закрыла лицо руками.

— Порядок наводите, Елена Егоровна? — бодро, как бы находя все не только естественным, но даже отрадным, спросил вошедший маленький легонький старичок в военных погонах. — А я слышу, ходят. Ду-маю, уж не семейство ли Кузнецовых в столицу прибыло? Вот и пришел поздравить, а кстати и возвратить то, что мне при отъезде оставил Егор Иванович, — и старичок протянул с детства ей знакомый томик старого издания Некрасова.

— Да, это папино, — сказала женщина. — Только это уже, Николай Васильевич, ни к чему... теперь...

— Да знаю, знаю, родная, — торопливо сказал старик и даже взмахнул легкой ручкой. — У каждого свои утраты...

— Главное, тиф. В его возрасте... Мы все ехали с его заводом. Помните? Ведь что тогда на станции творилось!

— Творилось! Творилось! — вдруг раздраженно перебил старичок, и глаза его молодо и сердито сверкнули. — Великое творилось, вот что, не боясь громких слов, скажу вам я, Елена Егоровна! И не только теперь, когда в три шеи погнали немцев, а уже тогда, когда мы, единственная в мире страна, приняли удар сильнейшего врага — выстояли, понимаете, выстояли! Разрешу себе заметить и по своей, так сказать, специальности военврача второго ранга, — улыбнулся старичок. — Вы вот изволили упомянуть про тиф. С этим тоже не получилось так, как рассчитывали немцы. Жертвы бесспорно были. Но той эпидемии, которая разразилась бы по стране, как это было, скажем, в гражданскую, этого не случилось! Нет, не случилось!

— Конечно, — негромко ответила женщина.

— Полюбовался бы ваш Алексей Федорович теперь, как показал себя перед всей Европой, перед всем миром русский народ!.. Я вот, старик, помирать пора, даром что на военную службу напросился, признаюсь, счастлив и горд! Иду иногда по городу и, честное слово, счастлив!

Женщина очень внимательно, точно впервые, взглянула на своего давнего соседа.

— Скажите, доктор, а где Мария Петровна? Ваш Женя?

— Померла моя старуха, померла, — неловкой скороговоркой произнес старик, видимо не ожидавший вопроса. — А Женя мой на фронте, с первого дня на фронте. Трижды ранен! — звонко выкрикнул старик и, как бы несомый невидимым ветром, вынесся в дверь.

Заметно темнело. Женщина подошла к окну и увидела закатное небо, повторявшее все оттенки осенней листвы. Затем ее взгляд обратился к земле. Эта улица была ей так знакома! До любого камешка, до любой крыши...

Вот у зеркальной тяжелой двери аптеки Алеша впервые сказал ей, что ему без нее очень скучно. Он так и сказал это совсем не поэтичное, скорее всего смешное слово, а у нее так замерло сердце, что она даже не нашлась с ответом... А вон на том крылечке они отдыхали, когда тащили из Гума кровать для Саши. Этой же улицей с шеренгами демонстрантов она ежегодно ходила на любимую площадь и на гранитном мавзолее среди других с детства дорогих лиц мгновенно находила недостающую фигуру в солдатской шинели...

Весь этот с детства любимый мир возвращался к ней, и впервые ощутимо женщина почувствовала, точно во всем ее таком изыбшем теле заструилась теплая кровь.



Зарево вспышек опоясало столицу, и гром сафюта прогремел над ней.

— Мама, шарики пускать будут? — спросил Саша.

И, точно повинувшись безотчетному, но непреодолимому приказу, мать взяла ребенка на руки и вышла на улицу. И с удивлением она обнаружила, что улица, которая с высоты пятого этажа уже казалась темной и пустой, переполнена людьми и все они идут в одном с нею направлении. Да, над столицей стоял тот негромкий, но непрерывный и слитный гул, который отражением могучей силы океана живет в раковине...

У Исторического музея они остановились, и незабываемая площадь, от волшебных очертаний храма Василия Блаженного до величественной простоты бессмертного мавзолея, открылась им.

— Что на сегодня? — спросил стоявший рядом с женщиной низенький штатский высокого военного.

— Не меньше как на двести двадцать четыре, — ответил военный.

Люди стояли на всем протяжении огромной площади, и лица их в бережном и радостном ожидании были устремлены вверх. Так прослушали они сообщение о том, что войска Западного фронта овладели городом Смоленском.

Затем последовало перечисление особо отличившихся дивизий, полков и батальонов.

— Наш, — негромко сказал военный низенькому штатскому.

При упоминании одного из авиационных полков он оглянулся на Елену — и тотчас же все его лицо просветлело.

— Товарищ Кузнецова? — спросил он. — Не узнаете?

Да, конечно, лицо его было ей знакомо. Кажется, он даже заходил к ней, приехав с фронта, с каким-то поручением от Алеши. Его фамилия была Смирнов. Нет, не Смирнов... Но все же тот был значительно моложе. И без орденов.

— А это его сынишка? — спросил летчик. — Весь в папу!

— Ну, не совсем, — сказала Елена. — Нос не тот.

— Хотя вообще-то нелегко на Алексея Федоровича походить, — негромко согласился военный. — Но стараться надо. У нас в штурмовом и сейчас в ходу выражения «кузнецовская посадка», «кузнецовское попадание», а еще чаще: «кузнецовская храбрость». Наши ребята ничего не забывают, — говорил он просто и твердо. Взглянув на нее, добавил: — А сейчас вы слышали про наш штурмовой, гвардейский? Благодарность Сталина? Обидно: пришлось мне в госпитале месяц проваляться. Завтра возвращаюсь... в наш Смоленский...

— И в наш и в его, — помолчав, поправился гвардеец: — майора Кузнецова...

Голубые лучи прожекторов, рассекая небо, выхватывали из темноты отдельные лица и фигуры. Зарево вспыхек опоясало столицу, и гром салюта пронесся над ней.

От яркого света золотых, алых и зеленых ракет стало празднично, светло.

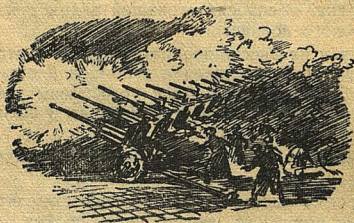
Женщине казалось, что вокруг нее знакомые лица и что она до одного узнает их. Вон та, левее, с седыми стриженными волосами и астрами в руках, — Ольга Семеновна Моисеева, парторг завода, где за год до войны проходила стажировку молодой инженер Елена Кузнецова; вот тот легонький старичок в погонах, который сейчас взмахнул рукой и крикнул «ура», — ее недавний собеседник; и рядом стоявший с нею человек, старик с седыми шевченковскими усами, в украинской лохматой

той папахе, со слезами, что явно блестели на смущенно-радостных глазах, также показался знакомым.

А салют приближался к концу. Он, казалось, звучал все громче, все торжественнее.

Рукоплескания прокатились по площади.

Саша также захлопал в маленькие ладоши. Слезы выступили на глазах его матери. И, повинувшись тому же непреодолимому приказу, который заставил ее выйти на улицу, женщина высоко, как знамя, подняла и протянула к Кремлю сына майора Кузнецова.





Семен Кирсанов

ДВА ДУБА

Два дерева стоят вблизи Березины,
Два дуба двести лет ветвями сплетены.
Под их листвою пылит дорога полевая,
Скрипит крестьянский воз, их сеном задевая.
Сопутствуя волам под шумною листвою,
Пастух выводит тут мотив наивный свой.
Вот промелькнул возок времен Екатерины,
В Москву сестер-невест вывозят на смотрины.
Вот с Альпами в глазах проходят в листопад
Усатые полки суворовских солдат.
Дубовый павший лист засушен и заржавлен,
Над ним с пером в руке задумался Державин.
Два гренадера здесь шатаются в бреду.
О, зарево Москвы в двенадцатом году!
Закутались они в дырявые знамена,
Где мерзнут на шелку орлы Наполеона.
Как строгие столбы карающей судьбы,
Их провожают вдаль безлистые дубы.
Слой пыли на листья нанес проселок пыльный,
Под ними шел в Сибирь свободолюбец ссыльный,
И у седых стволов по белизне зимы
Подпольщик проезжал, бежавший из тюрьмы.
Тут сходку майскую увидели впервые
И флаги Октября деревья вековые.
Все реже люди шли к их золотой красе —
Южнее пролегло широкое шоссе.
Седые столяры о тех дубах забыли,
Стальные топоры двух братьев не срубили,
К забытому пути из ближнего села

Лишь узкая тропа болотами вела.
Тут раннюю весной, когда дуга клубились,
Крестьянский паренек и девушка любились.
И первые ростки проснувшихся дубов
Благословляли их апрельскую любовь.
Но лето летовать не довелось любимым:
За лесом встал пожар, и потянуло дымом,
И орудийный гром потряс дубовый ствол,
И танк с кривым крестом под ветками прошел.
Проселком смертных мук дорога эта стала,
К немецким лагерям плелась толпа устало.
Узлами корневищ стонала глубь земли,
И мучеников к тем деревьям подвели.
Беспомощно в ту ночь с ветвей свисала зелень:
У дуба правого любимый был расстрелян,
У дуба левого — замучена она.
На вековом стволе кора обожжена.
Сквозь тело в плоть дубов слепые впились пули
И сердцевину их до сока резанули.
Слова, слетевшие с девичьих скорбных губ,
Листою повторил зеленогорбый дуб.
И снова влажный луг порос болотной травкой,
Проселок двух дубов стал партизанской явкой,
И раздавался здесь ночами тайный свист,
И пропуском друзьям служил дубовый лист,
И к шопоту друзей прислушивались ветки,
И были на стволе условные отметки,
И партизанский нож однажды поутру
Любимых имена нарезал на кору,
И глубоко в земле могучий вился корень, —
Так дух простых людей живуч и непокорен!
Когда за сотни верст сраженья отнеслись,
Тут люди Родине и Сталину клялись.
В осенние дожди и в зимние морозы
За лесом под откос валились паровозы,
И с каской набекрень валялся враг в снегу,
Дубовый лист на грудь приколот был врагу!
Не орденский листок Железного Креста,
А месть врагу ножом — сквозь золото листа!
Однажды на заре вновь запыхал проселок,
И в ветви залетел и срезал их осколок.
Запело, понеслось над рвущейся листвою,
И рядом третий дуб поднялся — дымовой.
Железная гроза дубам ломала руки,
Но не напрасно им пришлось отведать муки, —
Вот немец выбежал и спрятался за ствол,
Но мстительный свинец и там врага нашел!
И на седую пыль проселочной дороги
Ступил отряд бойцов, запыленных и строгих,
С медалями в пыли, с ресницами в пыли,
С сияньем на лице они на запад шли.
И два седых ствола с листвою старинной меди
Вдруг выросли в пыли воротами к победе.

Могучая листва — как триумфальный свод
С незримой надписью: «Сорок Четвертый Год».
И вздыбила листва коней меднозеленых,
Героев имена горят на двух колоннах.
И девушка с венком, и юноша с венком
Указывают путь сверкающим клинком —
На Запад!.. И прошли отряды боевые,
И осенили их деревья вековые, —
Простые, милые, заветные дубы, —
Под ними, только дождь, покажутся грибы,
На ветках отдохнет весенний перелет,
Любимую свою любимый обоймет
Рукой застенчивой, с широколистой веткой,
Под созданной для них одних беседкой.
И песня долетит, и отголоски смеха,
И шепоток листвы смешает с песней эхо,
И голоса людей, и ржание коней —
На той родной земле, где не взорвать корней,
Где не свалить стволов великого народа,
Где дышит, как листва, могучая свобода!



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Михаил Шолохов. Солдатская дружба</i>	3
<i>Конст. Симонов. Сын артиллериста</i>	10
<i>Алексей Толстой. Русский характер</i>	14
<i>Сергей Михалков. Мать</i>	21
<i>Аркадий Гайдар. Фронтовые записи</i>	28
<i>Евг. Долматовский. Закон тайги</i>	39
<i>Лев Славин. Уралец</i>	42
<i>А. Твардовский. Гармонь</i>	53
<i>С. Сергеев-Ценский. Хитрая девчонка</i>	57
<i>Павел Антокольский. Баллада о мальчишке, оставшемся неизвестным</i>	62
<i>Леонид Соболев. «Два-У-два»</i>	64
<i>А. Сурков. Разведчик Пашков</i>	74
<i>Валентин Катаев. Флаг</i>	76
<i>Николай Тихонов. Баллада о трех коммунистах</i>	81
<i>Василий Гроссман. Глазами Чехова</i>	84
<i>Александр Прокофьев. Россия. Иван Суханов. Клятва</i>	90
<i>Вадим Кожевников. Дом без номера</i>	93
<i>Михаил Исаковский. Легенда</i>	100
<i>Конст. Симонов. Третий адъютант</i>	103
<i>Илья Френкель. Баллада о дружбе. Давай закурим! Цветочек</i>	110
<i>Лев Кассиль. Вдова корабля</i>	113
<i>Вас. Лебедев-Кумач. Комсомольцы-моряки. Старшина второй статьи. Золотистый хохолок</i>	123
<i>П. Павленко. Жизнь</i>	126
<i>Виктор Гусев. Василий Павлович</i>	131
<i>Николай Тихонов. «Я все живу»</i>	133
<i>Арк. Кулешов. Комсомольский билет. Баллада о четырех заложниках</i>	139
<i>В. Каверин. Пояс</i>	143
<i>Анатолий Софронов. Горобец. Дубок и Грачев</i>	147
<i>Андрей Платонов. Через реку</i>	151
<i>Сергей Васильев. Улица Ленина</i>	156
<i>Валерия Герасимова. Салют</i>	159
<i>Семен Кирсанов. Два дуба</i>	165

ДЛЯ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Ответств. редактор *К. Пискунов*. Технич. редактор *Г. Левина*.
 Подписано к печати 6/III 1945 г. 10,5 печ.л. (13,1 уч.-изд. л.). 54 380 зн. в печ. л.
 Тираж 60 000 экз. А14278. Заказ № 6303. Цена 8 р. 50 к.

Фабрика детской книги Детгиза Наркомпроса РСФСР. Москва, Сушевский вал, 49.

Проб. 1900

5623

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ
ДЕТГИСА

180=

Цена 8 р. 50 к.

